

ВАСИЛЬ БЫКОВ
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

1

— Все. Спорить не будем, стройте людей! — сказал Ивановский Дюбину, обрывая разговор и выходя из-за угла сарая.

Длинноногий, худой и нескладный, в белом обвисшем маскхалате, старшина Дюбин смолк на полуслове; в снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное ранними морщинами лицо. После коротенькой паузы, засвидетельствовавшей его молчаливое несогласие с лейтенантом, старшина резко шагнул вперед по едва обозначенной в снегу тропинке, направляясь к тщательно притворенной двери овина. Теперь уже притворять ее не было надобности, широким движением Дюбин отбросил дверь в сторону, и та, пошатываясь, косо зависла на одной петле.

— Подъем! Выходи строиться!

Остановившись, Ивановский прислушался. Тихо звучавший говорок в овине сразу умолк, все там затихло, как бы загипнотизированное неотвратимостью этой, по существу, обыденной армейской команды, которая теперь означала для всех слишком многое... Через мгновение, однако, там все враз задвигалось, заворошилось, слышались голоса, и вот уже кто-то первый шагнул из темного проема дверей на чистую белизну снега. "Пивоваров", — рассеянно отметил про себя Ивановский, взглянув на белую фигуру в новеньком маскхалате, выжидающе замершую у темной стены сарая. Однако он тут же и забыл о нем, поглощенный своими заботами и слушая хозяйское покрякивание старшины в овине.

— Быстро выходи! И ничего не забывать: возвращаться не будем! — глуховато доносился из-за бревенчатых стен озабоченно-строгий голос Дюбина.

Старшина злился, видно, так и не согласившись с лейтенантом, хотя почти ничем не выдавал этого своего несогласия. Впрочем, злиться про себя Дюбин мог сколько угодно, это его личное дело, но пока здесь командует лейтенант Ивановский, ему и дано решать. А он уже и решил — окончательно и бесповоротно: переходить будут здесь и сейчас, потому что сколько можно откладывать! И так он прождал почти шесть суток — было совсем близко, каких-нибудь тридцать километров, стало шестьдесят — только что мерил по карте; на местности, разумеется, наберется побольше. Правда, в конце ноября ночь долгая, но все же слишком много возлагалось на эту их одну ночь, чтобы неразумно тратить столь дорогое теперь для них время.

Лейтенант решительно взял прислоненную к стене крайнюю связку лыж — свою связку — и отошел с тропы в снег, на три шага перед строящейся в шеренгу группой. Бойцы поспешно разбирали лыжи, натягивали на головы капюшоны; ветер из-за угла сердито трепал тонкую бязь маскировочных халатов и стегал по груди длинными концами завязок. Как Ивановский ни боролся со всем лишним, груза набралось более чем достаточно, и все его десять бойцов выглядели теперь уродливо-неуклюжими в толстых своих телогрейках, обвешанных под маскхалатами вещевыми мешками, гранатными сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок ко всему еще и лыжные связки, которые были пока громоздкой обузой, не больше. Но все было нужно, даже необходимо, а лыжи, больше всего казавшиеся ненужными теперь, очень понадобятся потом, в немецком тылу; на лыжи у него была вся надежда. Это именно он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи, и эту его идею сразу и охотно одобрили все — от флегматичного начальника отдела разведки до придирчивого, задерганного делами и подчиненными начальника штаба.

Другое дело, как ею воспользоваться, этой идеей.

Именно эта мысль больше других занимала теперь лейтенанта, пока он молчаливо, со скрытым нетерпением ждал построения группы. В снежных сумерках разбирали лыжные связки, глухо постукивая ими, сталкивались на узкой тропинке неуклюжими, нагруженными телами его бойцы. Как они покажут себя на лыжах? Не было времени как следует проверить всех их на лыжне, выдвигались к передовой засветло, согнувшись, пробирались в кустарнике. С утра он просидел на НП командира здешнего стрелкового батальона — наблюдал за противником. Весь день с низкого пасмурного неба сыпал редкий снежок, к вечеру снежок погустел, и лейтенант обрадовался. Он уже высмотрел весь маршрут перехода, запомнил на нем каждую кочку, и тут пошел снег, что может быть лучше! Но как только стало темнеть, ветер повернул в сторону, снегопад стал затихать и вот уже почти совсем перестал, лишь редкие снежинки неслись в стылom воздухе, слепо натыкаясь на бревенчатые стены сарая. Старшина предложил переждать часа два, авось опять разойдется. В снегу бы они управились куда как лучше...

— А если не разойдется? — резко переспросил его Ивановский. — Тогда что ж, полночи коту под хвост? Так, что ли?

Полночи терять не годилось, весь путь их был рассчитан именно на полную ночь. Впрочем, старшине нельзя было отказать в сообразительности — если переход сорвется, не понадобится и самая полная, самая длинная ночь.

Правофланговым на стежке стал сержант Лукашов, из кадровых, плотный молчаливый увалень, настоящий трудяга-пехотинец, помощник командира взвода по должности, специально откомандированный из

батальона охраны штаба на это задание. Во всем его виде, неторопливых, точных движениях было что-то уверенное, сильное и надежное. Подле устраивался на тропке тоже взятый из стрелков боец Хакимов. Хотя еще и не было никакой команды, смуглое лицо его со сведенными темными бровями уже напряглось во внимании к командиру; винтовка в одной руке, а лыжи в другой стояли в положении "у ноги". Рядом стоял, поправляя на плечах тяжеловатую ношу взрывчатки, боец Судник, молодой еще парень-подрывник, смышленный и достаточно крепкий с виду. Он один из немногих сам попросил взять его в группу, после того как в нее был зачислен его сослуживец, тоже сапер, Шелудяк, с которым они вместе занимались оборудованием КП штарма. Ивановский не знал, какой из этого Шелудяка подрывник, но лыжник из него определенно неважный. Это чувствовалось в самом начале. Суетливый и мешковатый, этот сорокалетний дядька, еще не став в строй, уже развалил свою связку, лыжи и палки разъехались концами в разные стороны. Боец спохватился собирать их и уронил в снег винтовку.

— Не мог как следует связать, да? — шагнул к нему Дюбин. — А ну дай сюда.

— Вы на лыжах как ходите? — почувствовав недоброе, спросил Ивановский.

— Я? Да так... Ходил когда-то.

"Когда-то!" — с раздражением подумал лейтенант. Черт возьми, кажется, подобрался народец — не оберешься сюрпризов. Впрочем, оно и понятно, надо было самому всех опросить, поговорить с каждым в отдельности, каждого посмотреть на лыжне. Но самому было некогда, два дня протолкался в штабе, у начальника разведки, потом у командующего артиллерией, в политотделе и особом отделе. Группу готовили другие, без него.

Быстро темнело, наступила зимняя холодная ночь, снегопад постепенно затихал, и лейтенант заторопился. Дюбин, казалось, слишком долго провозился с лыжами этого Шелудяка, пока связал их. В строю с терпеливым ожиданием на темных под капюшонами лицах стояли его бойцы. За Шелудяком переминался с ноги на ногу важный красивый Краснокуцкий в островерхой, как у Дюбина, буденовке, за ним застыл молчаливый Заяц. Последним на стежке стоял, наверно, самый молодой тут, земляк лейтенанта и также артиллерист Пивоваров. Да, лейтенант недостаточно знал их, тех, с кем, видимо, придется вскоре поделить славу или смерть, но выбора у него не было. Разумеется, было бы лучше отправиться на такое дело с хорошо знакомыми, испытанными в боях людьми. Но где они — эти его хорошо знакомые и испытанные? Теперь трудно уже и вспомнить все деревеньки, погосты, все лески и пригорки, где в братских и одиночных могилах погребенные, а то и просто ненайденные, пооставались они, его батарейцы. За

пять месяцев войны уцелело не много, неделю назад с ними вместе пробившись из немецкого тыла лишь четверо. Двое при этом оказались обмороженными, один был ранен при переходе у Алексеевки, до самого конца с ним оставался вычислитель младший сержант Воронков. Этот Воронков очень бы сгодился нынче, но Ивановский не смог разыскать его. Вычислителя отправили в стрелковый батальон на передовую, откуда, к сожалению, не всегда возвращаются...

— Так... Равняйся! Смирно! Товарищ лейтенант...

— Вольно, — сказал лейтенант и спросил: — Всем известно, куда идем?

— Известно, — пробасил Лукашов. Остальные согласно молчали.

— Идем к немцу в гости. Зачем и для чего — об этом потом. А теперь... Кто болен? Никто? Значит, все здоровы? Кто на лыжах ходить не умеет?

Коротенький строй настороженно замер, темные, истомленные ожиданием лица строго и покорно смотрели из-под бязевых капюшонов на своего командира, который теперь безраздельно брал под свое начало их солдатские судьбы. Все, притихнув, молчали, наверно, еще не во всем, что им предстояло вскорости, разбираясь сами, но ничего, кроме как целиком положиться на него, командира, да на этого вот долговязого старшину, который второй день опекал группу, им не оставалось.

Ивановский через прорезь в маскировочных брюках запустил руку в карман и вытащил увесистый кубик часов, когда-то снятых им с подбитого немецкого танка. Часы живо и радостно затикали на его ладони, засияв фосфоресцирующим циферблатом. Было без десяти минут семь.

— Итак, в нашем распоряжении двенадцать часов. За это время, конечно, минус час-другой на переход боевых порядков противника, нам предстоит отмахать шестьдесят километров. Ясно? Кто не способен на это? Говорите сразу, чтоб потом не было поздно. Потом некуда будет отправить. Ну?

Он выжидательно обвел взглядом строй, в котором ничто не шелохнулось, и было так тихо, что слышался шорох сдуваемых ветром с крыши снежинок. Но снова никто не отозвался на этот его такой далеко не пустячный теперь вопрос.

— Тогда все. Старшина — замыкающий. Группа — за мной марш!

Их никто не провожал тут, вся торопливая подготовка по переходу была закончена раньше. Час назад на КП командира стрелкового батальона они условились, что батальон будет молчать, чтобы не настораживать немцев, и они постараются прошмыгнуть незамеченными в самых первых, только что наступивших сумерках. Впрочем, если бы и потребовалась помощь, то чем мог помочь батальон, который лишь именовался таковым, а на деле состоял из стрелковой роты, не больше, да и командовал им недавний командир роты, старший лейтенант, пулеметчик. Он пообещал прикрыть их в крайнем случае

огнем, хотя это и было вынужденное обещание по требованию капитана из разведотдела штарма, который присутствовал там. Но капитан побудет и скоро уйдет, а батальону воевать дальше, боеприпасов к тому же у него не густо, и начальство потребует беречь их для более важного случая.

Правда, капитан совсем не настаивал, чтобы он переходил именно здесь и сегодня. При виде того, как стал утихать снегопад и перед ними очень уж открыто и пустынно раскинулась эта широкая речная пойма с извилистой полосой кустарника посередине, представитель штаба заколебался.

— Да, действительно. Как на пустой тарелке. Впрочем, решай сам, лейтенант. Тебе виднее.

— Пойду, — просто сказал Ивановский.

— Что ж, твое дело. Может, оно и к лучшему: сунуться туда, где не ожидают.

"Черт его знает, где они не ожидают. Не спросишь", — озабоченно подумал лейтенант. Но он не мог больше откладывать — в том деле, на которое они отправлялись теперь, промедление действительно было смерти подобно. А он и так уже промедлил сверх меры, хотя, конечно, и не по своей воле.

Проваливаясь по щиколотку, а где и по колено в снег, бойцы гуськом поднялись на пригорок. Ивановский оглянулся и впервые остался доволен — коротенькая колонна его послушно подобралась, никто не отстал, не замешкался; остановился он, и почти одновременно остановились все остальные. Дальше следовало подождать, может, передохнуть даже, залечь — с вершины холма их могли уже заметить немцы. Над поймой и на склонах, где расположился батальон, стояла тишина, дальние отзвуки боя докатывались лишь из-за леса справа, там же что-то неярко отсвечивало в темном и мутном от низких облаков небе. Наискось уходила в темноту пойма с тусклыми мазками кустарника, пятнами присыпанных снегом зарослей камыша над речкой, гривками бурьяна, вылезшего из-под снега. До речки было полкилометра, не меньше. Это пространство надо было преодолеть на четвереньках, потом изрядный отрезок придется ползти по-пластунски, а дальше уже и трудно определить как, только бы побыстрее оказаться по ту сторону поймы в спасительном, совершенно не видимом отсюда лесу.

— Ложись! За мной марш! — вполголоса скомандовал лейтенант и опустил локтями в снег.

Снег был глубокий, рыхлый, как вата, и морозно-пекучий. Он безбожно набивался во все щели маскировочного халата, в рукавицы, рукава, за пазуху и голенища сапог и подтаивал там, холодной, противной мокрядью расплываясь по телу. От этой смешанной с потом мокряди то бросало в озноб, то становилось душно, парно, удушливая горечь распирала грудь. Ивановский

зубами содрал с руки трехпалую рукавицу и мокрыми пальцами дернул за тесьму капюшона. Лицу стало прохладнее и свободнее, а главное — отпустило уши, он услышал шорох ветра в бурьяне и невнятные разрозненные звуки сзади.

Проползли они, наверное, с полкилометра, пригорочек с сосняком едва серел сзади на краю мрачного ночного неба, которое в серых сумерках почти что сливалось с заснеженным полем. Следа-борозды, проложенного их десятью телами, к счастью, не было видно даже вблизи, как и самих бойцов. Правда, это лишь в темноте. Ивановский знал, что стоит взлететь ракете, как, словно на ладони, станет виден в снегу весь проложенный ими след, да и они сами тоже.

Покамест, однако, было темно и тихо. Бой тяжелой глухой воркотней едва докатывался сюда из-за леса, там же с вечера гуляли по небосклону широкие огневые сполохи — отсветы дальней канонады, и промерзшая земля под локтями глухо, глубинно подрагивала. В той же стороне, за лесом, изредка вспархивали в небо желтые звезды ракет, которые тут же гасли в мутной мешанине света и тьмы.

Надо было как можно скорее одолеть эту пойму: переднего края они еще не прошли, еще предстоял самый опасный путь вдоль речушки. Но и так уже все притомились, группа начала заметно растягиваться. Ивановский вдруг спохватился, что не слышит дыхания Лукашова, который полз следом. Лейтенант оглянулся и минуту выждал, сам переводя дыхание, хотя и знал, что медлить здесь нельзя ни минуты. Но усталость, видно, притупила осторожность, поодаль уже второй раз что-то несильно стукнуло — наверно, винтовкой о лыжи, и лейтенант нервно напрягся, впившись в снеговой полумрак обостренным злым взглядом. Разгильдяи, иначе не назовешь! Ему так не хватало теперь возможности покрыть их крепким злым словом. Действительно, сколько ни твердил, что лыжи надо держать в левой, а винтовку в правой руке, но вот, наверно, кому-то понадобилось сгрести все в одну кучу, и теперь стучит...

Сзади зашевелился в темноте серый сгорбленный ком в маскхалате, шумно дыша, он подполз и замер у самых ног лейтенанта. За ним шевелился еще кто-то, а дальше уже невозможно было и разглядеть — мешали сумраки снег. Ивановский спросил осиплым усталым шепотом:

— Ползут?

— Ползут, командир, — также шепотом ответил сержант.

— Передай — шире шаг!

В низинке снег стал еще глубже, люди зарывались в нем по самые плечи. Под намокшими коленями прощупывалась мерзлая колючая трава, наверно, начиналось болото. Ивановский не смотрел на компас — как и обычно,

направление он угадывал по характерным изменениям рельефа, который здесь был знаком ему по карте. Тут все время следовало держаться низинки, по ней выйти к кустарнику на берегу речки и дальше ползти под кустарником. Путь ползком предстоял еще длинный, он, конечно, вымотает их как следует. Но только бы не напороться на немцев, на какой-нибудь их замаскированный ночной секрет. Тогда уже незамеченными не пройти, и все может кончиться скверно в самом начале.

Ивановский, однако, отогнал от себя эти мысли и сквозь окончательно сгустившуюся мглу взгляделся вперед. Вроде совсем уже недалеко темнел кустарник, за ним была засыпанная снегом речушка. Это место — он помнил по карте — располагалось как раз посередине нейтралки, дальше по пригорку начиналась небольшая, разбитая минами деревенька, в которой засели немцы. Правда, их первый окоп был и еще ближе — через какую-нибудь сотню метров за речкой; там группе надлежало повернуть вдоль русла и попытаться проскользнуть в кустарнике между этим окопчиком и другим — в стороне, на мыске остроносого, словно большая опрокинутая ложка, пригорка.

Тем временем снег не только стал глубже, но и сделался совсем рыхлым, под руками шуршала пересыпанная им мерзлая, не скошенная летом трава. Они ползли по болоту. Ивановский неосторожно надавил коленом и проломил непрочную еще корку мха, из-под которой туго плюхнуло на снег водой. На секунду он остановился, чтобы прислушаться, не выдал ли себя этим неосторожным движением. Но тут начинался кустарник, рукой подать топорщились ветки ольшаника, заросли красной лозы, что непролазной стеной торчала из снега. Ивановский еще немного прополз под кустарником, чтобы дать своей растянувшейся таки группе подобраться поближе и разместиться под спасительным его укрытием. Кустарник надежно укрывал их со стороны деревни, тут им уже не страшны были и ракеты. Правда, оставался еще открытый и опасный пригорок-ложка с другой стороны, но этот пригорок все-таки был на некотором от них отдалении. Оттуда их могли не заметить даже и при свете ракет.

Все время лейтенанту не терпелось встать и оглянуться, как там, в хвосте, не слишком ли растянулись последние. Теперь очень важно было держать всех в одном кулаке, в такой ситуации разобщенность граничит с бедой. Правда, в случае чего там есть кому распорядиться: последним полз Дюбин, кажется, в общем неглупый человек, раза в полтора старше самого лейтенанта. Но Дюбин был из запаса. И хотя характером его бог не обидел, но хватит ли у него чисто фронтового умелства? Ивановский, сам кадровый командир, испытывавший все муки войны с ее самого первого июньского дня, несколько не доверял запасным и, чтоб было вернее и надежнее, обычно старался часть возложенной на них ноши переложить на себя. Сегодняшняя

его короткая стычка со старшиной, предложившим повременить с переходом, оставила неприятный осадок у обоих. Лейтенант не терпел делить свою власть с кем бы то ни было да еще в таком деле, где он целиком полагался лишь на себя, свою сообразительность и решимость. Пока, в общем, все обходилось, повезет — обойдется и дальше, и тогда он как-нибудь при случае напомнит Дюбину...

Сзади в борозде рыхлого снега сипато зашептал Лукашов:

— Теперь куда, товарищ лейтенант?

— Тихо! Как там сзади?

— Да ползут. Шелудяк вон отстают только...

Опять Шелудяк! Этот Шелудяк еще в батальоне именно своей мешковатостью вызвал недовольство лейтенанта, но в суматохе скороспешной подготовки Ивановский просто выпустил его из виду, подумав, что человек он здоровый, выдюжит. К тому же группе необходим был сапер, и выбора никакого не было, пришлось брать первого попавшегося под руку — этого вот немолодого и мешковатого дядьку. Но война в который уж раз убеждала в необходимости, кроме обыкновенной силы, еще и умения, тренировки. Впрочем, тренировки у них не было никакой, на нее просто не хватило времени.

Целый день начальник разведки с начальником особого отдела пересматривали и утрясали списки, подбирали людей, и, когда наконец составили группу, ни о какой тренировке нечего было и думать.

Оставив на месте лыжи, Ивановский обошел Лукашова и пополз по его следу назад. Шелудяк действительно оторвался от сержанта и теперь устало и грузно гребся в снегу, задерживая собой остальных. Лейтенант встретил его тихим злым шепотом:

— В чем дело?

— Да вот вспотел, чтоб его! Скоро ли там, чтоб на лыжи?

— Живо шевелитесь! Живо! — подогнал он бойца.

Покачивая задранным задом, навьюченный под маскхалатом тяжелым вещмешком со взрывчаткой, Шелудяк на четвереньках пополз догонять сержанта. За ним подались и остальные. Лейтенант пропустил мимо себя Хакимова, Зайца, Судника, еще кого-то, чье лицо он не рассмотрел под низко надвинутым капюшоном, и дождался старшину Дюбина.

— Что случилось? — спросил тот, ненадолго задерживаясь возле Ивановского. Лейтенант не ответил. Что было отвечать, разве не видно старшине, что группа растянулась, нарушила необходимый порядок, к которому имел определенное отношение и старшина как замыкающий.

— Кто стучал в хвосте?

— Стучал? Не слышал.

Ну, разумеется, он не слышал. Ивановский не стал продолжать разговор, замер и прислушался. Поблизости, однако, все было тихо, наши на пригорочке с сосняком настороженно молчали, молчали впереди и немцы. Девять бугристых тел в белых, пересыпанных снегом халатах ровно лежали в разрытой ими снежной канаве.

— Надо слушать, — коротким шепотом заметил Ивановский. — Сейчас переход. Чтоб мне ни звука!

Старшина промолчал, и лейтенант на четвереньках быстро пополз вперед, обходя бойцов. Он не видел их лиц, но почти физически ощущал их настороженные, полные ожидания и тревоги взгляды из-под капюшонов. Все молчали. Обгоняя Шелудяка, который, виновато сопя, распластался в борозде, Ивановский строго потребовал:

— Изо всех сил! Изо всех сил, Шелудяк! Понял?

Лейтенант выполз в голову своей, теперь уже подтянувшейся пластунской колонны и снова пополз в самом глубоком снегу на краю кустарника. Одной рукой он волочил по снегу лыжи, другой — автомат; сумка с автоматными дисками сбивалась с бедра под живот, и он то и дело отбрасывал ее за спину. В снегу он напоролся на какую-то кучу хвороста, который звучно затрещал в ночи; зацепившись за что-то, порвался маскхалат; застряли в снегу лыжи. Чертыхаясь про себя, лейтенант минуту выпутывался из этой ловушки, потом взял в сторону, несколько дальше от кустарника. Где-то тут недалеко должен был повстречаться ручей, впадавший в речушку; от ручья начинался самый опасный отрезок пути в разрыве немецкой линии.

До ручья, однако, он еще не дополз, когда впереди и совсем близко звучно щелкнуло в воздухе, засипело, заискрилось, и яркая огненная дуга прочертила по краю неба. Разгоряченный борьбой со снегом, Ивановский не сразу понял, что это ракета. Несколько не долетев до них, она торжественно распустилась вверху букетом ослепительно сияющего пламени, и снежная равнина с кустарником затаилась, замерла, сжалась, залитая ее лихорадочной яркостью. Потом что-то там пошатнулось, дрогнуло и все ринулось в сторону; по пойме метнулась путаница стремительных теней. Ракета упала на снег за кустарником и еще несколько секунд сверкала остатками своего холодного пламени.

Ивановский затих, где лежал, почти не дыша, грудь его распирало от нехватки воздуха, возле лица на ветру крутилась снежная пыль. Лейтенант ждал выстрелов, криков, следующих ракет, но в сгустившейся темноте ночи стояла прежняя напряженно-зловещая тишина. Тогда он прикрыл на секунду глаза, чтобы скорее преодолеть ослепление, и снова всмотрелся вперед. Он недоумевал, откуда тут могла появиться ракета, ведь в том направлении, откуда она взлетела, немцев не должно было быть — там болото, речушка,

кустарник. Туда ведь как раз предстояло ему ползти. Теперь получалось, что тот путь им закрыт.

Сзади его тронул за сапог Лукашов, но лейтенант не оглянулся даже и не отозвался, обеспокоенный единственным теперь вопросом — заметили или нет? Если заметили, то, наверное, их сегодняшняя попытка на том и окончена. Если нет, следовало побыстрее убираться с этого злополучного места.

Прошла еще минута, но не было ни выстрелов, ни ракеты, и Ивановский подумал, что, по-видимому, там сидит высланный на ночь ракетчик, которого разумнее обойти. Лейтенант круто повернул в кустарник, на четвереньках достиг невысокого берега речки, над которой клонилось несколько черных кряжистых ольх, и решительно перевалился с берега на ровную поверхность присыпанного снегом льда. На другом берегу заросли оказались пореже, неширокой полосой они тянулись вдоль берега, а далее начинался пригорок с деревней и немецким окопом под скособоченным сараем на отшибе.

Сержант Лукашов не отставал ни на шаг, и когда лейтенант остановился в нерешительности, тот пополз рядом и шепнул в лицо:

— А давайте речкой...

— Тих...

Положение усложнялось. На этой стороне они оказались слишком близко к противнику, пробраться мимо него было возможно лишь вдоль самого берега. Куда как соблазнительно было податься на гладкую ровность замерзшей речушки, но она здесь петляла, словно запутанная чертом веревка. "Это сколько же понадобится времени, чтобы выползть все ее петли? — уныло подумал Ивановский. — Опять же, а если где плохо замерзла?"

Ему показалось, что прошло чересчур много времени, что он непростительно долго провозился в этом кустарнике и запаздывает уже в самом начале. Вздвогнув от охватившей его тревоги, лейтенант оглянулся, но сзади уже все перебрались через речушку и ждали, чтобы двинуться дальше. В сером сумраке ночи поблизости невнятно темнело несколько лиц, остальных и вовсе не было видно, и он с новой решимостью пополз по снегу.

В этот раз он прополз очень недолго, снова и с того же места вспорхнула ракета, с ней вместе долетел щелчок выстрела. Лейтенант вжался в снег, изо всех сил вглядываясь в черно-белую путаницу ветвей на ярко освещенной белизне снега. Нет, ракета пошла в прежнем направлении, на ту сторону поймы, откуда они ползли. Значит, их все-таки не заметили. Дождавшись, когда ракета сгорела, он с облегчением дернул лыжную связку и сам, на локтях и коленях, стремительно рванулся вперед. В наступившей глухой темноте он несколько долгих секунд не видел перед собой ничего, только греб и греб снег и тащил лыжи. И вдруг снова ослеп от невероятно яркого света, который прямо с небес мощно обрушился на пойму — снег засиял,

заискрился, тени от кустарника широким полукругом быстро повернулись на пойме, ярко отпечатавшись на снегу, и замерли. Замер и он, с каждым мгновением чувствуя трескучие пулеметные очереди. Как всегда в минуту наибольшей опасности, мысль его среагировала с предельной быстротой, он понял, что это от пуньки, значит, совсем уже близко. Ракета вся без остатка сгорела в вышине, но по-прежнему было тихо, и он снова стиснул веки, чтобы переждать ослепление. Если заметили, то надо подаваться назад, за речку, под защиту ее бережка, а если нет... Тогда быстрее надо ползти вперед, подальше от этого проклятого места, где тебя так нагло подсвечивают с обеих сторон.

Выстрелов все не было, значит, еще не заметили, и он с дерзкой решимостью рванулся вперед, вдруг ощутив в себе новый порыв риска и удачливости. Быстрее, быстрее! С неожиданной силой и ловкостью он полз вдоль берега, весь закопавшись в снегу, который нещадно забивал лицо, рот, не давал дышать и слепил глаза. Когда же зрению возвратилась прежняя способность различать в темноте, он вдруг отметил, что слева от деревни его прикрывает какой-то бугорок высотой по колено, — наверно, обмежек на границе нивы и покоса. Это его куда как обрадовало, теперь он уже не страшился ракет: вся его воля устремилась к единственной цели — вперед!

Он полз долго и быстро. Под одеждой на груди и спине уже все стало мокрым от пота и снега, на своих сзади он не оглядывался, то было без пользы: теперь он не мог подогнать их. Он лишь полагался на власть своего примера, на силу солдатского правила — равняться по командиру.

Когда в небе опять загорелась ракета, он замер с занесенной вперед рукой и низко над снегом оглянулся: так и есть — бойцы опять растянулись, опять за сержантом образовался разрыв этак шагов на двадцать. Обмежек, как на беду, тут же окончился, теперь их ничто не прикрывало от переднего окопа немцев. Одно хорошо — сарай на пригорке остался сзади, уже ракета летела в тыл. Впереди же опять расстилалась широкая ровность с рядами негустого, исчезавшего в сумерках кустарника по одному ее краю.

Ракета погасла, и на душе у него отлегло, самое трудное вроде бы миновало. Это было так хорошо почувствовать, — коротенько и сдержанно-радостно, — но не успел он опять двинуть вперед связку лыж, как совсем близко сзади неожиданно гулко бахнул винтовочный выстрел. Почти ужаснувшись, Ивановский пружинисто обернулся, рука привычно ухватилась за шейку обмотанного бинтами автомата, но ни сзади, ни по сторонам он не обнаружил решительно никакого движения. Все окрест будто обмерло, один только выстрел — и больше ни звука, и нигде никого поблизости. Спустя несколько секунд, однако, ярко засветило сразу в двух местах над кустарником. Лейтенант из-за плеча проследил за полетом ракет — они, как и предыдущие, упали сзади, но тут же взвились еще две по обеим сторонам

речки. В их ярком свете густым пронзительным треском залился пулемет от сарая, огненные трассы стегнули по кустам возле речки, несколько пуль скрикошетило от бугорка, за которым они только что прятались, и зелеными брызгами разлетелось в сторону. Пулемет слепо, но верно нащупывал их при свете ракет и так близко шарил струями пуль, что их спасал лишь обмежек. Ивановский лежал и скрежетал зубами от немого отчаяния — так все шло хорошо и, на тебе, срывалось из-за какого-то нелепого выстрела...

Наверно, они так пролежали долго, лейтенант начал вздрагивать от озноба, мокрое его белье ледяным панцирем облипало тело. Вверху сгорело с десяток ракет, пулемет возле пуньки вроде бы стал затихать. И тогда сзади раз и другой его потрогал за сапог Лукашов. Ивановский на снегу вывернулся лицом назад.

— Кудрявцева ранило.

— Сильно?

Вместо ответа сержант пожал плечами и тоже обернулся назад, наверно, ожидая разъяснения оттуда.

Было от чего выругаться, но Ивановский лишь судорожно сжал в рукавицах по пригоршне снега. Что и говорить, начало было испорчено, но вскоре могло произойти и еще худшее — их запросто могли обнаружить в поле. Тем не менее разбираться, ползти назад теперь не было времени, и он приказал первому, кого различил в темноте за сержантом:

— Шелудяк, марш назад. Забрать раненого и назад.

По лицу сапера скользнуло что-то растерянное, тем не менее он разгреб телом снег, развернулся и исчез в темноте. Ивановский тут же спохватился при мысли, что с раненым лучше бы послать не его, а кого-нибудь более для того способного, но возвращать Шелудяка теперь уже не стал. "Пусть живет!" — с чувством неожиданного великодушия подумал он. Не каждому выпадает такое, но этот старик, наверно, больше других имеет право выжить, — все-таки отец семейства, дома трое детей, а это что-нибудь да значит.

Немцы возле сарая молчали, так ничего, наверно, и не обнаружив; стало тихо, только за лесом все урчала, ворочалась и вздыхала далекая орудийная канонада. Ивановского снова охватило беспокойство за время, которое, невзирая ни на что, мчалось дьявольски быстро, и лейтенант даже испугался, что вконец опоздает. По правде, он не предвидел столько неожиданностей в самом начале теперь подумал невесело: а что еще будет!

Ивановский рванулся вперед, но не прополз и десяти шагов, как опять замер от потока стремительно метнувшихся в его сторону трасс. Распластавшись на снегу, лейтенант вгляделся в ту сторону, где едва заметным бугорком темнел в отдалении сарай, и живо попятился назад под защиту все того же маленького, едва заметного вблизи обмежка. Все-таки,

наверно, их обнаружили. Вверху с шипением и треском жгли небо ракеты, а пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли, низали, взбивали снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка. Во что бы то ни стало надо было выскользнуть из этой проклятой западни, но проползти по ярко освещенному полю нечего было и думать.

Кажется, они застряли прочно и надолго. Хорошо еще, что слева попался этот обмежек, словно посланный богом для их спасения, — только он укрывал их от пулеметного огня с пригорка. Но сколько же можно укрываться?

Тем временем все неподвижно и молча лежали, ожидая его решения и его командирского действия. И он решил единственно теперь возможное: заставить замолчать пулемет. Очевидно, лучше всего подползти к нему со стороны фронта, от речки; сделать это, разумеется, с наибольшим успехом мог только он сам. Только одному, в крайнем случае двоим еще можно рискнуть подобраться к нему незамеченными.

— Передайте: старшину — ко мне!

По цепочке быстро передали его команду, и Дюбин приполз, молча леж рядом.

— Вот что. Надо снять пулемет, — сказал Ивановский и, встретив в ответ молчание, пояснил: — Иначе не вылезем. В случае чего возьми карту, поведешь группу.

— Не годится так, — помолчав, сказал Дюбин. — Надо бы другого кого.

— Кого другого? — сказал лейтенант. — Попробую сам.

Лежа расстегнув телогрейку, он достал из-за пазухи смятый, во много раз сложенный лист карты, подвинул ближе к старшине свои лыжи. Пулемет молчал, догорала на снегу настильно брошенная немцем ракета, стало темно и тихо. Но он знал: стоит лишь высунуться из-за обмежка, как немцы снова поднимут свой тарарам; видно, они здесь что-то просматривают.

— Лукашов, за мной, — тихо позвал лейтенант и не оглянувшись, знал, что Лукашов не отстанет. В наступившей затем крошечной тьме он с автоматом в руке и тремя гранатами в карманах брюк пополз под обмежком. Надо было торопиться, иначе вся его вылазка теряла смысл. Разумеется, это было не самое лучшее, может, наоборот даже, но другого выхода из затруднения он не находил. Другим было разве что возвращение восвояси, что, впрочем, тоже теперь сделать не просто. Он зло про себя ругался и твердил, разгребая снег: "Ну бей же, бей, гад! Шуми побольше..."

Ему надо было, чтоб пулемет вел огонь. Когда пулемет работает, тогда пулеметчик глух и слеп, тогда бы уж лейтенант как-нибудь подобрался к нему. И пулемет действительно скоро ударил — сразу, как только засветила ракета. Но, к удивлению своему, в первый момент Ивановский не увидел ни одной из его трасс. Короткое недоумение лейтенанта, однако, тут же исчезло —

пулеметные очереди уходили в их тыл, в сторону поймы и речки, в то место, где они недавно переползали ее в кустарнике. В этот раз немцы всполошились всерьез и надолго. Над поймой запылал настоящий ракетный пожар, вокруг стало светло как днем, на луговину с пригорка неслись, перехлестываясь, сходясь и разлетаясь, густым веером пули; несколько пулеметов из разных мест остервенело секли кустарник. Сначала Ивановский инстинктивно втиснулся в снег, немного видя из своей борозды и только напряженно вслушиваясь в густое сверкающее завывание вверху. Но и не глядя, он скоро понял, что это не так себе, что это все Шелудяк. Значит, все-таки заприметили, высветили и теперь расстреливают.

Но поняв это, Ивановский вдруг содрогнулся от радостной счастливой мысли: Шелудяк отвлекал огонь на себя, надо немедленно этим воспользоваться. Лейтенант тут же развернулся в снегу, на четвереньках проскочил в голову своей замершей под обмежком колонны, схватил лыжи.

— За мной, — вслух скомандовал он, уже не остерегаясь в этом грохоте быть услышанным немцами.

2

Последние метры до леса они не ползли, а, пригнувшись, устало бежали, пока один за другим не попадали в реденьком низкорослом кустарнике. Распластанные на снегу судорожной горькой одышкой, минуту ошеломленно молчали, не в состоянии вымолвить слова. У каждого в такт с сердцем билась единственная теперь мысль — вроде удалось, прошли, худшее осталось позади. Немцы с пригорка как будто их проворонили. Увлеченные пальбой по луговине, ослепленные сиянием ракет, они, вероятно, не слишком оглядывались по сторонам, пока не расстреляли у реки Шелудяка. "Спасибо вам, дорогие бойцы", — растроганно думал Ивановский, лежа на снегу и в одышке хватая ртом воздух. Первая плата за его успех была внесена, каков окажется итог? Как бы то ни было, светлая тебе память, боец Шелудяк, посланный на верную гибель, хотя в тот момент с какой-то подспудной завистью лейтенант думал, что — в жизнь...

Еще не совсем отдышавшись, он приподнялся и сел на снегу. Редкие огненные светляки пуль низали снежные сумерки уже далеко позади, навстречу им летели другие из сосняка за поймой — это вступил в бой батальон. Здесь же, возле кустарника, было спокойно, перед ними лежал голый, не очень заснеженный склон с гривками бурьяна по межам. Ивановский достал часы — было половина десятого.

— Кто стрелял? — сдержанно, с запоздало вспыхнувшим гневом спросил лейтенант, вспомнив тот злополучный выстрел.

Невдалеке среди пластом лежащих тел в белом кто-то заворошился и сел на снег, по острию, выпиравшему под капюшоном, командир узнал Дюбина — старшина был в буденовке.

— Выстрелил Судник.

— Я выстрелил, — виновато и глухо подтвердил простуженный голос, и Судник расслабленно поднялся на ноги.

— Почему стрелял?

Боец двинул у ноги винтовкой.

— Да вот, с предохранителя соскочила.

Ивановский взгляделся в замотанное бинтом оружие, и его передернуло от злости — у бойца была СВТ, эффектная с виду десятизарядка, сложная по конструкции и не очень надежная в бою. Просто беда, как он перед выходом недосмотрел, разве можно было с таким оружием отправляться в тыл к немцам?

— Черт бы вас побрал! — не сдержав гнева, с тихой злостью заговорил лейтенант. — Что у вас за оружие?

— Винтовка.

— Какая винтовка?

— Самозарядная Токарева номер эн эм шестьсот двадцать четыре.

— "Эн эм"! Вы похуже не могли найти?

Видно, только теперь поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову. Лейтенант почти с ненавистью глядел на его придавленную тяжестью вещмешка фигуру, мокрый, обвисший на коленях халат. Однако весь его неказистый вид выражал теперь лишь вину и покорность. Эта его покорность и непрестанно подстегивающее лейтенанта время скоро заглушили вспышку командирского гнева; Ивановский понял, что бесполезно взыскивать с бойца за дело, о котором тот не имел представления. Тем не менее он не мог игнорировать тот факт, что этот Судник едва не погубил всю группу.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Черта он понимает! — вдруг сидя заговорил Лукашов. — Разгильдяй он. Зачем было брать такого?

Судник по-прежнему стоял молча, уронив голову.

— За такое дело вот кокну тебя к чертовой матери! — угрожающе прошептал лейтенант. — Понял?

Голова бойца склонилась еще ниже, но он, видно, решительно не знал, что сказать в свое оправдание, и, похоже, готов был ко всему.

— Ладно. Потом мы с ним потолкуем, — наверно, почувствовав нерешительность в голосе командира, примирительно сказал Дюбин.

— Я еще разберусь с тобой, — пообещал Ивановский и скомандовал: — На лыжи!

Все враз зашевелились, разбирая лыжи и пристегивая к сапогам крепление, — задерживаться тут не годилось. Лейтенант ухватил за концы палки и оглянулся, дожидаясь готовности группы.

— Я бы его проучил! Мне он не попался, сопляк, — натягивая рукавицы, ворчал поблизости Лукашов.

— Ладно, все! — громким шепотом оборвал его Ивановский. — Готовы? Судник — за мной! Марш!

Лейтенант резко взял с места, направляясь в прогал кустарника, однако в рыхлом снегу лыжи скользили плохо, проваливаясь в глубокие колеи, из которых торчали лишь загнутые концы. Ветки кустарника цеплялись за маскхалат, срывали с головы капюшон. Наверное, четверть часа лейтенант продирался через кустарник, пока наконец не вырвался в поле. Тут его сразу охватил порывистый ветер, но стало просторнее. Ивановский нащупал лыжами более твердый участок снега и оттолкнулся палками. Взгляд его был устремлен вперед, лейтенант не оглядывался, он слышал шорох лыж сзади и мерное привычное дыхание бойцов. Его гнев против Судника стал понемногу спадать, наибольшая беда миновала, и Ивановский начал свыкаться с тем, что их осталось восемь. Правда, полностью примириться с этим было нельзя, завтра ему очень нужны будут люди, и Судник заслуживал строжайшего наказания. Но как его наказать?.. На гауптвахту здесь не посадишь, придется отложить все до возвращения. К тому же, в общем, им повезло. Если разобраться, так еще неизвестно, как бы оно обернулось, если бы Судник не выстрелил, не ранили Кудрявца и он ее отправил с ним Шелудяка, который отвлек на себя огонь немцев. Вполне возможно, что до утра им бы не удалось прорваться из-за того обмежка, а по светлому времени их бы легко расстреляли из минометов. Много ли нужно для десяти человек? А так вот проскочили, и теперь только бы не нарваться в ночи на какие-нибудь тыловые части.

Вскоре на снегу наметился небольшой спуск, лыжи пошли вперед легче, рукам стало свободнее, и лейтенант оглянулся. Судник прилежно шел следом; за ним, слегка оторвавшись, тянул в сумерках Лукашов. Остальные тоже как будто подравнялись, и в ветреном ночном сумраке слышался сплошной шорох снега под лыжами. Лейтенант еще увеличил темп. Дорога была дальняя, даже слишком дальняя для одной ночи, и очень надо было спешить. Тут он еще помнил маршрут, изученный накануне по карте, и знал, что скоро опять пойдет пойма все той же речушки. Далее и следовало все время ее держаться.

После кустарника бойцы вошли в ритм, и группа споро двигалась в серых ночных сумерках. Беззвездное небо сплошным пологом накрыло зимний простор, в котором тускло темнели размытые пятна кустарников, деревьев, бурьяна и множество еще чего-то неясного и загадочного. Ракеты на

передовой светили далеко сзади, отсюда видны были лишь их мигающие отсветы за пологим холмом.

Постепенно Ивановский стал успокаиваться — хотя и не совсем гладко, но поначалу вроде бы обошлось: они прорвались. Правда, все время не выходил из головы Шелудяк, так несуразно с ним вышло, пожалел, называется. Наверное, пригодился бы завтра, все-таки сапер и пожилой человек, не какой-нибудь несмышлениш, как этот Судник. Да, с саперами ему не повезло, хотя больше других были нужны именно саперы. Но тут ничего не поделаешь. В то время как группа лежала в свете ракет, казалось, вернул бы назад половину, лишь бы другая половина прорвалась.

А теперь вот обидно и жалко.

Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться внакладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам. Вообще война беспощадна ко всякому, но первым на фронте погибает трус, — именно тот, кто больше всех дорожит своей жизнью. Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Война удивительно слепа к людям и далеко не по заслугам распоряжается их жизнями. Как нигде в мирной жизни, здесь изменчива и капризна судьба человека, которому, чтобы жить, ни на минуту нельзя выпускать из рук тугих вожжей обстоятельств при любых, самых невозможных условиях надо стараться управлять ими.

Горечь от первой и довольно нелепой утраты не оставляла Ивановского. Ненадолго лейтенант забывался, поглощенный ночными заботами, но она опять возвращалась щемящей, слишком знакомой на войне болью. И сколько он ни переживал ее за пять месяцев, эту раздирающую сердце боль, и какой бы обыденной она порой ни казалась, совершенно привыкнуть к ней было нельзя. Скольких уже он потерял навсегда за это время войны, думалось, пора бы уж и привыкнуть к самым потерям и свыкнуться с сознанием их неизбежности. Но, как ни привыкал, нет-нет да и находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, чем навсегда укладывать в могильную глубь близкого тебе человека.

А своего лучшего друга, разведчика капитана Волоха, он даже не смог закопать. Просто у них не нашлось лопаты и каких-нибудь пятнадцати минут времени — от шоссе уже мчались на мотоциклах немцы. Отстреливаясь, они с Погребняком завернули тело капитана в палатку и наспех забросали ее перемешанной со снегом листвой. Так и остался их командир на лесной опушке того далекого смоленского урочища. А следующего за ним, сержанта

Рукавицына, даже не удалось унести с пригорка, на котором его настигла пуля, и спустя десять минут его там подобрала немцы.

Вообще Ивановскому везло в войну на хороших людей, и самым большим везеньем был, конечно, капитан Волох. Каким-то необъяснимым чутьем лейтенант понял ото сразу, как только увидел его на подернутой утренним туманом просеке в Боровском лесу, Стоя на коленях, капитан что-то вытряхивал из карманов в брошенную на мох фуражку, рядом лежала разложенная карта, а вокруг сидели и лежали его разведчики. Все были в зеленых маскировочных халатах со снятыми капюшонами и в пилотках, лишь у одного капитана была фуражка, по которой лейтенант безошибочно признал в нем командира и, подойдя, отдал честь.

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

— Пожалуйста, — запросто, без тени командирской строгости улыбнулся капитан. — Обращайтесь, если есть с чем. А то у нас вот одна пыль.

Видно, он не прочь был пошутить и, может, даже угостить махоркой, но махорка у него вся вышла, как вышла она и у лейтенанта. Правда, лейтенанту теперь было не до курева, он бы больше обрадовался сухарю или куску хлеба, так как два дня почти ничего не ел. После разгрома в ночном бою под Крупцами он отбился от полка, попал в окружение, выйдя из которого с двенадцатью бойцами плутал по лесам в поисках своей части. Но нигде он не мог набрести хотя бы на остатки полка или даже дивизии, иногда попадались бойцы из неизвестных ему частей, но никто ничего толком не знал, в прифронтовой полосе все смешалось, перемешались и наши и немцы. Еще через день вокруг остались одни только немцы, он всюду натыкался на них самих или на свежие следы их пребывания и неделю метался по перелескам в поисках какого-нибудь выхода. У него не было карты, и совершенно неясной была обстановка, встреченные в пути красноармейцы давали самые противоречивые сведения. Ясно было одно — наши отошли далеко, немцы устремились к Москве. В нескольких случайных стычках он потерял еще трех человек, двое исчезли в ночи: может, отбились в темноте и пристали где к другим группам, а может, и того хуже. С ним осталось лишь четверо, они забрели в какую-то лесную глухомань, где уже не было ни немцев, ни наших, и вдруг эта случайная встреча с группой разведчиков на лесной просеке.

Капитан все-таки что-то натряс из карманов и свернул тоненькую куцую сигарку. Остальные молча и, как показалось лейтенанту, с затаенной грустью наблюдали за своим командиром.

— Как зажигалка, цела? — спросил капитан, вправляя в синие брюки вывернутые карманы.

— Какая зажигалка? — удивился Ивановский.

И вдруг он все вспомнил.

Действительно, месяц назад под Касачевом, где они стояли тогда в обороне, как-то перед рассветом начальник разведки полка привел на батарейный НП незнакомого командира в фуражке и с орденом Красного Знамени на габардиновой гимнастерке. Как чуть рассвело, они стали что-то рассматривать в стереотрубу на немецкой стороне, что-то отмечая на карте. Потом вместе позавтракали. Капитан еще угостил Ивановского "Казбеком" и, прикуривая, обратил внимание на его трофейную зажигалку — фигурку буддийского монаха. Зажигалка действительно была занятная: при легком нажатии на пружину у монаха отскакивала часть черепа и появлялся огонек пламени.

Зажигалка оказалась цела, теперь Ивановский достал маленькую черную фигурку, большим пальцем нажал на пружину. Но в этот раз огонек не появился, наверно, вышел бензин.

— Забавно, забавно, — сказал капитан. — Жаль, курить нечего.

— У нас тоже ни табачинки, — сказал Ивановский.

Их лица стали серьезными, капитан натянул на плечи свою изодранную куртку. В ощущениях враз ворвалась невеселая фронтовая действительность.

— Давно бедствуете? — спросил капитан.

— Да вот с семнадцатого. Как смяли тогда под Касачевом.

— Ясно. Что ж, пойдем вместе. Вот тут на моей карте обозначен стык, сюда и попробуем сунуться.

Они пробирались еще четверо суток, но никакого стыка в немецкой линии фронта не обнаружили, как, впрочем, не обнаружили и самого фронта. Стояла глубокая осень, листва на деревьях вся облетела, после холодных затяжных дождей наступила ранняя промозглая стужа. Дороги были забиты обозами, автомобилями и вездеходами наступающих и тыловых немецких частей. Бойцы устали от многодневной ходьбы по бездорожью, от голода. Некоторых начала донимать простуда, кашель. Лейтенанта не переставали мучить чирьи по всему телу. А потом в группе появился раненный в ногу разведчик, который не мог идти сам, и они по очереди несли его на самодельных, изготовленных из жердей и плащ-палатки носилках. По этой причине они не могли идти быстро, но командир не хотел оставлять разведчика. Это был действительно ценный разведчик, свободно говоривший по-немецки, голубоглазый и светловолосый атлет по фамилии Фих. Ранило его случайно, когда они днем заскочили в деревню, чтобы расспросить о дороге и разжиться чем-нибудь из еды, и уже в самом начале улицы напоролась на немцев. Первого вышедшего из двора немца капитан свалил ударом ножа в шею. Это оказался офицер, и Волох по старой привычке разведчика первым делом схватился за его полевую сумку. Но следом за офицером шли еще двое, один из них выстрелил из пистолета и угодил Фиху в

бедро. Хорошо, Балаенко дал очередь, немец упал, и они все бросились наутек, подхватив раненого, который после этого выстрела не сделал уже ни одного шага по земле. Наверное, немецкая пуля повредила у него какой-нибудь важный нерв, нога обвисла, как плеть. К тому же началось какое-то осложнение, поднялся жар. Длительные переходы причиняли невероятные страдания раненому, повязка все время сбивалась, рана кровоточила; Фих, сжав зубы, страдал, все больше мрачнел и уходил в себя.

Так прошло несколько дней.

Однажды они остановились передохнуть на заросшем дубняком пригорке. Лиственный лес весь уже стоял обнаженный, лишь корявые низкорослые дубки продолжали шелестеть на ветру своей сильно пожухлой, но еще по-летнему густой листвой. Здесь было относительное затишье, дубняк надежно укрывал их от чужих глаз. Как только остановились, разведчики попадали наземь, с молчаливой отрешенностью на изможденном лице лежал на носилках Фих. Волох сидел возле и соломиной задумчиво колупал в зубах. Есть было нечего, курить тоже. Двое разведчиков ушли на поиски жилья, чтобы раздобыть какой-нибудь кусок хлеба для раненого.

— Слушай, Фих, — вдруг сказал капитан. — Ты не беспокойся, мы тебя не оставим. Мы тебя вынесем, и все будет ладно. Главное — не падай духом.

— Отдай мне пистолет, — слабым голосом протянул Фих.

Два дня подряд он непрестанно требовал свой пистолет, который, заподозрив неладное, у него вынул из кобуры Волох. Теперь всякий разговор с раненым начинался и кончался его требованием вернуть пистолет.

— Ну вот, ты опять за свое! Отдам я тебе пистолет. Но сначала надо тебя донести до своих.

— Отдайте мой пистолет! Зачем взяли? Зачем эти заботы? Для оправдания вашей совести? Плюньте, капитан...

Уговорить его было невозможно, капитан понимал это и особенно не уговаривал. Их положение не оставляло места иллюзиям, да они и не нуждались ни в каких иллюзиях. Безднадежность состояния Фиха была очевидной как для него самого, так и для всех восьмерых в группе, включая старого его дружка сержанта Рукавицына, всю дорогу выхаживавшего раненого как только было возможно. Беда, однако, состояла в том, что возможности его были весьма ограничены. Фих таял на глазах, и Рукавицын, по существу, ничем не мог ему пособить. С убитым видом он сидел над товарищем и грязным платком вытирал холодную испарину с его бледного лба.

— Да-а, дела, — сказал капитан. — Что же нам с тобой делать?

Вопрос был почти риторический, никто не мог и не пытался на него ответить. Впрочем, капитан и не ждал ответа, он просто размышлял вслух.

Однако на этот раз долго размышлять ему не пришлось — вернулись двое разведчиков и сообщили, что деревень нигде нет, а обнаруженная поблизости сторожка стоит пустая, ничем съестным поживиться там не удалось. Но на обратном пути разведчики видели, как по дороге в соседний лесок одна за другой шли груженные немецкие машины, которые быстро там разгружаются и налегке возвращаются прежней дорогой. По всей видимости, в лесок перебазируется какой-нибудь крупный немецкий склад.

Они, разумеется, знали, что склады могут быть разные: с фуражом, боеприпасами, горючим, вещевым, инженерным или даже химическим имуществом. Но могут быть также и с продовольствием. Наверно, вероятность последнего предположения показалась изголодавшимся бойцам наибольшей, и капитан живо вскочил на ноги.

— А ну где? Далеко?

— Да километра два отсюда.

Они снялись с места и скоро прошли дубнячок, потом обошли по краю овражек, перешли мокроватую луговинку, снова вошли в колючий густой кустарник, на выходе из которого по команде Волоха все разом замерли. Сквозь чащу ольшаника было видно, как по ухабистой, разбитой дороге в редкий сосновый лесок тащились тяжело груженные семитонные "бюссинги", где-то там они разгружались и скоро бежали вниз, наверно, за новой партией груза. Капитан сразу сел, где стоял, достал из-за пазухи бинокль. Разведчики опустили на землю носилки с Фихом.

— Ух ты, что там наворочено! Вот это да! — удивился капитан. — Проволокой обносят, так, так. А подходы, в общем, хорошие. Вот бы, когда стемнеет. На-ка, прикинь, — сказал он, передавая бинокль Ивановскому. Лейтенант, отыскав в голых ветвях прогалину, направил на лес бинокль. Отчетливо было видно, как там разгружали машины. Работали, кажется, пленные, в некотором отдалении от них маячили темные фигуры в длинных шинелях с винтовками в руках. Под высокими редкими соснами на пригорке вытянулись длинные ряды каких-то громоздких зеленых и желтых ящиков. Несколько ранее сложенных штабелей были укрыты брезентом.

— Интересно, что? — рассуждал капитан. — Но все равно. Устроим фейерверк на всю Смоленщину. Рукавицын, у тебя противотанковая граната цела? Хорошо. А тол ты еще не выбросил, Погребняк? Ракеты надо приготовить тоже. Пригодятся.

Он тут же, в ольшанике, наскоро изложил свой план нападения на склад, распределил обязанности между горсткой усталых, голодных людей. Присматривать за раненым поручил сначала двоим, а потом только одному Рукавицыну. Своим заместителем назначил его, Ивановского. Решили выступать, как только стемнеет.

— Веселенькая будет ночь! — радовался капитан, потирая озябшие руки.
— Закурить бы теперь, да нечего.

3

Наверное, лучше будет взорвать. Под проволокой протащить заряд со шнуром, подложить под штабель. Часового отвлечь куда-нибудь в сторону. Как это сделать — Ивановский знал, когда-то учил капитан Волох. Есть несколько способов. Лучше бы, разумеется, вовсе снять часового, но, если объект большой, часовых будет несколько, всех не снимешь.

Так, размышляя, Ивановский небыстро спускался на лыжах с не приметного в ночи пригорка. В снежной темени вообще не рассмотреть было, где пригорочек, а где ложбина, он лишь чувствовал это по весу лыж на ногах, которые то вдруг тяжелели, и появлялась надобность помогать себе палками, то бежали по снегу охотнее.

Ивановский все время держал на юг, изредка проверяя направление по компасу. Справа в туманной мгле, то приближаясь к лыжне, то удаляясь от нее, петляла речушка, которую он узнавал по неровному шнурку кустарника на берегу. Слева к ней сбегали окончания невысоких пригорков, которые то и дело приходилось пересекать лыжникам.

Съехав с очередного пологого склона, Ивановский остановился. Лыжи затрещали в каких-то сухих бодыльях, и лейтенант поглядел в сторону, чтобы обойти их. Сзади по одному приближались и останавливались его бойцы.

— Ну как? — спросил он на полный голос. Здесь, кажется, уже никто не мог их услышать.

— Угрелись, лейтенант, — тяжело дыша, ответил, подъезжая, Лукашов; белый, заметный даже в ночи пар валил от его грузной фигуры. Судник схватил горсть снега и, подпершись палкой, стал жадно есть. Скоро подъехали Хакимов и Краснокуцкий; еще кто-то спускался по склону.

— Дюбин! — позвал лейтенант.

— Идет, кажется, — не сразу отозвался голос из сумерек, и он подумал, что, если замыкающий тут, значит, все в сборе, можно двигаться.

— Как бы передохнуть, товарищ командир? — с ноткою жалобы спросил Краснокуцкий.

Ивановский вынул часы. Стрелки показывали час ночи.

— Отставить отдых, — сказал лейтенант. — Мы опаздываем.

— Уже поджилки дрожат.

— Втягивайтесь, втягивайтесь. Потом легче будет. Так, за мной марш!

Он боялся отдыхом расхолодить бойцов, по себе знал, как трудно после привала опять набирать прежний темп. Важно было выдержать заданную скорость на протяжении всей ночи, может, даже при надобности увеличить ее. Он знал: скоро должно появиться второе дыхание, и тогда всем станет легче...

Но усталость брала свое, и лейтенант все чаще стал замечать, что взгляд его упрямо клонился к земле и перед глазами начиналось однообразное мелькание лыжных носов. Однажды, с усилием оторвав взгляд от снега и вскинув голову, он обнаружил впереди что-то мрачно-серое, похожее на высокую стену леса. И в самом деле это был лес — преградив им путь, тревожно и тягуче шумели на ветру высокие сосны. Ивановский слегка удивился — на карте в здешних местах не значилось никакого леса, тем более хвойного; он подумал, что, может, потерял направление, и стал поспешно сверяться с компасом. Но нет, все было верно, направление он держал, как и полагалось, точно в двести десять градусов, но почему тогда лес? И как с ним поступить — пройти насквозь, не меняя маршрута, или обойти? И в какую сторону обходить?

— Что, лейтенант, перекур? — спросил Лукашов сзади. Почему-то он подошел раньше Судника, который приотстал так, что едва угадывался в сумерках. Это нарушало установленный им порядок на марше, и у Иванковского вырвалось:

— А почему вы тут?

— Так вон сапер... Надоело на пятки наступать.

Кажется, его лыжники стали растягиваться, это уже никуда не годилось; лейтенант полагал, что по готовой лыжне можно бы идти исправнее. Он упрятал компас в рукав и, напряженно соображая, как поступить с лесом, ждал, когда подойдут остальные.

Спустя пять или даже десять минут подошли Хакимов и Краснокуцкий, остальных не было. Теряя терпение, он подождал еще.

Уставшие лыжники, едва остановившись, наваливались грудью на концы воткнутых в снег палок: так отдыхали. Все трудно, прерывисто дышали и хватали руками снег.

— Скоро ли, товарищ лейтенант? — упавшим голосом спросил Краснокуцкий. — Знаете, силы уже не тает...

— Где остальные? — вместо ответа встревоженно спросил лейтенант.

— Да идут. Заяц, наверно, отстал. Ну и старшина там с ним нянькается.

— А Пивоваров?

— Да вон идет кто-то.

Из снежной тьмы, затканной густеющей на ветру крупой, выскользнула еще одна белая тень. Это был Пивоваров.

— Где остальные? — спросил лейтенант.

— Не знаю. Сзади никого вроде, — бодро ответил боец. — Я там с креплением провозился...

— Ладно. Пошли.

Лейтенант не мог больше ждать. Старшина не новичок в подобных делах, он не должен отстать. Опять же на снегу ясно видна наезженная лыжня, пусть догоняет. И лейтенант свернул вправо, вдоль боровой опушки, в обход леса. Лезть в него напрямик он не решился, чтобы где-нибудь невзначай не набрести на овраг или бурелом, а то и просто не застрять в чащобе. Все-таки на лыжах ночью по лесу идти не годилось.

Но он не знал и как обойти его и брел наугад вдоль неровной извилистой опушки, повторяя лыжней все замысловатые ее извилины. Шли гораздо осторожнее, чем в поле, под соснами в зарослях молодняка все время что-то мерещилось, казалось, какие-то тени, фигуры людей. Но приблизившись, он всякий раз обнаруживал, что это были молодые сосенки.

Между тем ветер усиливался, теперь он почти все время дул навстречу. Тонкая бязь маскхалата пузырилась на спине, порой хлопая, словно парус. Лейтенант почувствовал, как у него заметно поубавилось прыти, а с ней убыло и уверенности в правильности его направления. В остальном он не сомневался. Он то делал энергичный рывок, то вдруг переходил на умеренный шаг, с большей, чем следовало, осторожностью оглядываясь по сторонам. Время от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не догоняют ли их отставшие Заяц с Дюбиным.

Но Дюбин все не нагонял их, а лес внезапно оборвался, они наконец достигли западной его оконечности. Далее хвойная опушка сворачивала на юг и, закругляясь, отступала куда-то к юго-востоку. Этого только и ждал Ивановский. Он даже вздохнул с облегчением и, остановившись, вогнал в снег палки: надо было сориентироваться с картой.

— У кого там?.. Пивоваров, у вас палатка?

— У меня, товарищ лейтенант.

— Давай сюда.

Не сходя с лыж, Ивановский присел на снегу, Пивоваров тщательно накрыл его плащ-палаткой — сделалось необычайно темно после мелькающей белизны снега и тихо. Слабым пятнышком света из фонарика лейтенант повел по измятому листу карты. Все стало ясно.

Река здесь делала большой изгиб в сторону, потому он потерял ее в темени и наткнулся на лес. Но вряд ли была такая надобность следовать ее речной прихоти, наверно, разумнее было взять сразу на юг и тем срезать порядочный крюк. Правда, без реки труднее будет сориентироваться в ночи, тем более что карта допускала неточности. Сосновый лес, который они обошли, вовсе не был обозначен на ней, топографы ограничились лишь нанесением здесь мелких кружочков, обозначающих кустарники. Когда-то это, может, действительно было кустарником, а теперь вой какой лес вымахал, разросся на добрых два километра в длину и едва не ввел его в заблуждение.

Поняв, где находится, лейтенант сбросил с себя палатку.

— Старшины нет?

— Нет еще. Может, подождем? — спросил Лукашов.

Пристально, с последней надеждой Ивановский взгляделся в ночь, вслушался, но сзади никого не было. Продолжительное отсутствие старшины начало всерьез тревожить, появились разные нехорошие предположения, но он гнал их, стараясь сохранить уверенность, что Дюбин догонит. Теперь же надо было двигаться дальше и нужен был замыкающий. Старшим в группе по званию после командира был сержант Лукашов, и лейтенант решил:

— Лукашов, пойдете замыкающим. И чтоб никаких отставаний! Поняли?

— Понятно, — твердо ответил сержант, сосупая с лыжни, чтобы пропустить мимо себя остальных.

— Вперед! Еще пару рывков — и мы у цели.

Тогда они тоже были почти у цели.

Еще не стемнело, как на влажную землю начал падать мокрый снежок. Было тихо. Сначала он шел реденький, пушистый — красивые ажурные снежинки картинно кружились в воздухе, плавно оседая на землю. Затем снегопад начал усиливаться и к вечеру повалил мокрыми хлопьями, повисая на ветках, густо облепляя головы, плечи, рукава бойцов. Разведчики терпеливо сидели в кустарнике и ждали. За несколько часов неподвижности все сильно продрогли. Раненого Фиха укрыли мокрой плащ-палаткой, и он тихо стонал под ней в забытии. Перед самыми сумерками Волох и еще один разведчик, сержант Балаенко, отправились понаблюдать за складом; из кустарника уже мало что было видно.

Четверть часа спустя запыхавшийся Балаенко прибежал к группе: капитан приказал Фиха с одним разведчиком оставить в дубнячке, а остальным выдвигаться на опушку. Они вскочили и вскоре прибыли к своему командиру. До склада отсюда было рукой подать, но снегопад и наступившие сумерки неплохо скрывали их. Сосредоточенный капитан решительно объявил, что действовать начнут сейчас же, не дожидаясь ночи, когда бдительность часовых еще ослаблена неулегшейся дневной суетой. Никто не возразил командиру, разведчики внимали каждому его слову и все исполняли молча и в точности. Ивановскому же в этой диверсии все было ново и необычно, он целиком полагался на капитана и тоже старался поточнее выполнять все его команды.

— Как раз кстати снежок, — сказал лейтенант, устраиваясь подле Волоха. Тот повернул недовольное, озабоченное лицо.

— Не очень-то кстати. Нас не видать, но и мы ни черта не видим.

Трудно было угадать, как лучше, однако снег не переставал, и капитан решил действовать. Четверых с трофейным пулеметом МГ под началом

Ивановского он оставил на опушке с задачей прикрытия на случай неудачного отхода, а сам с двумя разведчиками, забрав гранаты, отправился к рощице. Никакого прощания не было, просто Ивановский проводил их несколько задержавшимся взглядом, пока все трое один за другим не исчезли в сгустившихся, мельтешащих сумерках. Тихонько зарядив пулемет, он остался ждать на опушке.

Какое-то время впереди было темно и тихо, медленно тянулись минуты тягостного, напряженного ожидания. Мысленно Ивановский следовал за капитаном, живо представляя себе, как тот преодолевал открытый участок поля, подходил к опушке. Наверно, потом он остановится, чтобы осмотреться. Но что это?..

Из ветреной снежной тьмы вдруг донесся какой-то странный крик, за ним следом — второй, и, прежде чем Ивановский успел сообразить что-либо, круша все сомнения, бабахнул близкий винтовочный выстрел. Тут же вспорхнувшая над верхушками сосен ракета немного осветила на белой земле — снегопад густо заткал ночное пространство, но Ивановский понял: замысел капитана сорвался.

Наверное, надо было прикрывать отход, может, отвлечь огонь на себя, но он не знал, где капитан и почему тот ни единым выстрелом не ответил на огонь часовых. Однако, когда откуда-то от дороги вдоль опушки рощи стеганули трассирующие пулеметные очереди, он не сдержался и ударил из МГ навстречу, наугад, в то место во тьме, где возникали эти светящиеся трассы. Он с нетерпением ждал появления Волоха и выпустил лишь одну очередь по немецкому пулеметчику — у них маловато было патронов, всего одна лента, надо было экономить. Он ждал, что вот-вот три знакомых силуэта вынырнут из темноты, и тогда они пустятся прочь от этой проклятой базы. Но шли минуты, а из темноты никто не выскакивал, и лейтенант вынужден был ждать. Рядом в снегу лежал его боец Толкачев; окликнув его, Ивановский махнул в сторону рощи, и тот, вскочив, послушно побежал в затканное снегопадом поле.

Ракеты над рощей горели не переставая, фланговые трассы неслись куда-то в определенное место, наверно, немецкий пулеметчик знал, куда метил. Ивановский с колена еще выпустил очередь наугад, и тогда весь этот недалекий край рощи загрохотал выстрелами — похоже, охрана заняла оборону и всерьез отражала нападение. В таком случае, не мешкая, следовало отходить. Но капитана все не было, и недоброе предчувствие сдавило Ивановскому горло.

Он сразу заметил чье-то появление в поле, в неверном мерцающем свете ракеты сквозь снег впереди мелькнула шаткая тень; в то время как другая упала, эта мгновенно выросла до гигантских, на все поле, размеров; облетая ее,

с двух сторон на опушку неслись пулеметные трассы. В несколько прыжков тень, однако, достигла опушки, и сквозь шум стрельбы Ивановский услышал:

— Капитана убило!

— Стой! — крикнул он и вскочил сам. — Стой!

Это был боец Фартучный, в общем неплохой разведчик, может, даже больше других любимый капитаном Волохом, но теперь, охваченный непонятным испугом, он сломя голову мчался из-под огня. Сообщенная им весть о несчастье, однако, не могла сразить лейтенанта, тот ничего хорошего уже не ждал; правда, чтобы погиб капитан Волох, он не мог себе даже представить.

— Стой! Назад!

Сам он, подхватив пулемет с тяжелой, свисавшей до самого снега лентой, бросился в поле. Осклизаясь на присыпанных снегом неровностях, минуту бежал в ту сторону, откуда появился Фартучный. Не оглядываясь, он знал, что Фартучный вернется и побежит за ним, иного не могло быть. Ракеты светили, казалось, со всех сторон, Ивановский уже не скрывался от них и с короткой остановки запустил длинную очередь по опушке рощи, чтобы вынудить немцев поберечься, залечь. В этот момент Фартучный проворно обогнал его и тотчас скрылся впереди за снежной завесой.

Ивановский тоже вскочил с колена, чтобы бежать за бойцом, но при свете вспыхнувшей над полем ракеты увидел несколько близких теней, которые, пригнувшись, бежали от дороги вдоль складской изгороди. Испугавшись, что они перехватят Фартучного, он второпях запустил по ним последней своей очередью и, когда опустевший конец металлической ленты выскочил в снег, бросил ставший ненужным ему пулемет и выхватил из кобуры ТТ. Но он уже увидел своих — двое, пригнувшись, с усилием волокли третьего. Не дожидаясь, пока потухнет ракета, он подбежал к ним.

— Жив?

— Где там! Убит! — крикнул Фартучный. — Проклятый часовой! Надо же...

Отстреливаясь, они изменили направление, долго бежали в кустарнике и, лишь уйдя километра на три, в каком-то леске перевели дыхание. Капитан был убит наповал, нести его с собой не имело смысла, и они, торопливо разрыхлив ножами мокрую, с листвой землю, выгребли ямку и кое-как присыпали в ней командира. Пропал также один из разведчиков, уходивший с Волохом; было неизвестно, то ли он тоже убит там, то ли, может, отбился куда в сторону. Но ждать они не могли, с каждой минутой сзади могла появиться погоня, уйти от которой с раненым Фихом было непросто.

Проклиная злосчастный склад и их сегодняшнее невезение, Ивановский повел маленькую группу на север — прочь от этой злополучной рощи,

полыхавшей в ночи ракетами, отсветы которых еще долго сопровождали бойцов. На душе у лейтенанта было муторно, то и дело подступала злость и донимало отчаяние. Нет, он не осуждал капитана, наверное, сам на его месте поступил бы так же. Но было до слез обидно, что нелепая слепая случайность так здорово пособила немцам. Не наткнись в снегопаде Волох на часового, наверно, все бы вышло по-другому...

Значит, надо осторожнее. Надо действовать во сто крат осмотрительнее, тем более ему, Ивановскому, который теперь был ответствен не только перед самим собой...

4

Миновав лес, лейтенант опять вывел группу на равнинную приречную пойму, и лыжники утомительно долго шли по прямой, никуда не сворачивая. Здесь уже не было ни подъемов, ни спусков, лыжня шла ровно, по глубокому снегу, и Ивановский все время с заметным усилием налегал на палки. Лыжи в рыхлом снегу зарывались глубже, чем следовало для быстрой ходьбы, скольжение было неважным. Прокладывая лыжню, командир брал на себя наибольшую в данном пути нагрузку, и где-то к полуночи почувствовал, что стал выдыхаться. На нем уже все было мокрым, белье не просыхало от пота, горячее дыхание распирало грудь, стала донимать жажда. Но он не хотел есть снег, знал: влага обернется излишним потом, а это лишь уменьшит выносливость и никак не прибавит сил, которых ему понадобится еще ой как много.

Быстро шло время, а Дюбин все не догонял группу, и лейтенант терялся в догадках: что с ним случилось? Но, видно, надо перестать о нем думать — если не догнал раньше, то теперь не догонит: они отмахали половину пути, если не больше. У лейтенанта всякий раз сжималось сердце от мысли, что их становилось все меньше. Еще не дошли до места, а уже четверых не стало. Но он не мог, просто не имел права терять время на поиски или ожидание.

Ивановский намеренно редко поглядывал на часы, он начал бояться неумеренного хода времени и все свои силы вкладывал в бег, стараясь не очень отвлекаться на прочее. Наверно, по этой причине он как-то не сразу заметил, что значительно усилился ветер, у ног закрутила поземка, кажется, начал идти снег. Несколько сильных порывов ветра так стеганули снежной крупой по лицу, что лейтенант задохнулся. Вокруг стало темней и глуше. И без того узкое ночное пространство еще сузилось, растворилось в серых ненастных сумерках. Ночных пятен по сторонам значительно убавилось. А тут еще и ветер ударил снегом в лицо, похоже, начиналась вьюга. "Не вовремя", — тревожно подумал лейтенант, сильнее заработав палками. Лыжи его уже совсем утопали в снегу, выставляя на поверхность лишь острия загнутых носков. Стараясь выдерживать направление, Ивановский почти не глядел

вниз на снег, надо было как можно дальше видеть в ночи, в этом состояла одна из его обязанностей направляющего. Другие наблюдали по сторонам: замыкающий Лукашов отвечал за безопасность с тыла. Разумеется, в этой темени легко было напороться на немцев, но больше, чем неожиданной встречи с ними, он боялся опоздать. Метель или ведро, а к утру, еще затемно, они должны быть на месте. Днем им там делать нечего.

Но видно, река опять ушла в сторону, впереди засерело что-то громадное, неровным туманным бугром проступившее из тьмы. Вьюга всю гуляла над полем, и сквозь нее невозможно было определить, что это такое. Тем не менее оно было как раз на пути группы, Ивановский понял это сразу. Он теперь чаще, чем прежде, прикладывался к компасу, выверяя маршрут. Сзади ни на шаг не отставал Судник, держались поблизости и остальные.

То, что еще издали привлекло их внимание, вблизи оказалось какой-то постройкой — окраинной усадьбой деревни или каким-нибудь хутором. Соблазнительно было завернуть туда хотя бы напиться, но Ивановский, поняв, что перед ним, сразу взял в сторону, в обход. Он суеверно боялся всего, что могло отвлечь их от главного теперь дела и отобрать время.

В ненастье завьюженного пространства трудно было определить, на каком расстоянии от них был этот хутор. Всего какую-нибудь минуту он темнел в стороне и уже готов был исчезнуть, как сквозь метель откуда-то донесся крик. Лейтенант не сразу понял, кто и даже на каком языке кричит, но затем от построек послышался лай собаки. Не ожидая ничего хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, делая решительный рывок в сторону, и тотчас ветреную тишь ночи разорвала приглушенная вьюгой пулеметная очередь. Трассирующие светляки пуль прошили сумерки над головой, чиркнули по самому снегу и унеслись прочь. Вздвогнув от неожиданности, лейтенант пригнулся и изо всех сил рванул дальше, вперед в темень. Откуда-то сбоку сквозь вьюгу вдруг вспыхнул свет, снежинки густо забелели в его неярком пятне, но это не была ракета — скорее, где-то включили фары. И снова в воздухе пронеслись огненные жгуты пуль — густая, длинная очередь с широким рассеиванием прошла по полю. Лейтенант оглянулся на лыжников — Судник, как и всегда, держался вплотную; за ним, пригибаясь, быстро шли остальные. Неяркий дальний свет фар все-таки заметно подсвечивал поле, вырывая из серой тьмы белые силуэты людей; с хутора, наверно, их можно было заметить. Когда совсем близко снова засверкали трассы, он негромко крикнул: "Ложись!", почему-то больше всего испугавшись за ношу Судника, и сам мягко упал на бок. Но он опоздал. Лежа в снегу, он уже чувствовал, что ранен, ногу коротко обожгло выше колена, теплая мокрядь начала расплываться в брюках. Но особенной сильной боли

он не почувствовал, сжав зубы, подвигал ногой — вроде терпимо. Рядом, трудно дыша, втиснулся в снег Судник.

— Бутылки! Бутылки береги! — громко шепнул он бойцу, опять с необычайной отчетливостью понимая, если попадут в бутылки, все они тут же погибнут. Судник лежа стащил со спины вещмешок, вмял его в снег, прикрывая собой опасную для всех ношу.

Четверть часа они, замерев, лежали в снегу.

Как только трассы погасли, лейтенант сделал попытку вскочить на ноги и, к радости своей, обнаружил, что нога слушается. Пригнувшись на лыжах, он снова рванул в ночь — изо всех сил в сторону от очередей и слепящего света фар. Хорошо, порывы ветра со снегом все-таки скрывали их даже в подсвеченном дальним светом пространстве, и он проскочил еще метров сто. Хутора уже вовсе не было видно, фары, помигав вдали, как-то потускнели, но по-прежнему светили сюда. Новая очередь прошла темноту сзади, но ее трассы ушли далеко в сторону.

Кажется, они вырвались из самой опасной зоны. Лейтенант спохватился, что оторвался от своих, оглянулся. Сзади кто-то нерешительно копошился в сумерках, но не догонял — по-видимому, они сбились с его лыжни. Тогда он придержал лыжи, присел, тихонько окликнул бойца и медленнее, чем прежде, заскользил в темноту, прочь от этого проклятого хутора.

Скоро он наткнулся на опушку леса или кустарника и остановился: надо было собрать бойцов. Нога болела все больше, но боль пока была терпимой, видимо, пуля задела лишь мякоть. Хутор молчал. Совсем рядом темнел голый, засыпанный снегом кустарник, в котором чернели молодые елочки — в случае чего там можно было укрыться.

Ивановский не переставал удивляться бдительности немцев. Хотя, кажется, выдали его собаки. Глупые псы, разве они знали, на кого лаяли. Впрочем, было бы хуже, если бы он вовремя не отвернул от этого хутора. Все-таки они его обошли, хотя, по-видимому, и не настолько далеко, чтобы их не заметили. А теперь что же делать? Он чувствовал быстро усиливающуюся боль в ноге, в брюках стало совсем уже мокро, намокла даже портянка в сапоге, надо было перевязать. Но он молчал и не двигался — он ждал, пока подойдут остальные.

Первым из темноты неожиданно вынырнул Судник, потом появилась тонкая фигура Пивоварова; несколько позже, пригибаясь и размашисто работая палками, примчались из метели еще двое. Все остановились возле командира и настороженно оглядывались назад. Порывистый ветер крутил в воздухе редкой снежной крупой, осыпая его лыжи, маскхалаты, лица бойцов.

— Кого еще нет? — тихо спросил лейтенант.

— Хакимова нет, — сказал Лукашов, не оборачиваясь. Все вглядывались в сторону злополучного хутора.

— Сволочи! И как они учуяли? Кажется, так тихо шли, — выругался Краснокуцкий.

— Вот еще бедствие — псы эти. Добро бы немецкие, а то, поди, наши, русские.

— Под немцем все псы немецкие. Тут они нам не товарищи.

Лейтенант едва стоял, расслабив раненую ногу, и молчал. Он все более мрачнел, сознавая свое положение и тревожась из-за продолжительного отсутствия Хакимова. Было совершенно ясно, что эта задержка им дорого обойдется, но и оставлять бойца он тоже не мог. И лейтенант после недолгого ожидания спросил Лукашова:

— Где он исчез? Когда лежали или потом упал?

— Как лежали, был. А потом не углядел вот.

— Езжайте и найдите. Мы здесь ждем.

Лукашов молча двинулся в метель, а Ивановский постоял немного и свернул на опушку, зашел за молодые, обсыпанные снегом елки. Здесь крутило, словно в аэродинамической трубе, — тучи снега вихрем носились в тмени, со всех сторон задувал ветер. Лейтенант быстро развязал тесемки маскхалата, расстегнул брюки. Холодные руки сразу ощутили загустевшую кровь, он разорвал шуршащую обертку пакета и туго перетянул ногу повыше колена. Было чертовски больно, но он вытерпел, подавил вздох и быстро оделся. Снегом тщательно вытер руки — никто не должен заметить, что он ранен, это теперь ни к чему, тем более что рана пустяковая, в общем. Придется потерпеть молча.

Черт, как все произошло несуразно, прямо-таки хуже некуда. На ум сразу пришло народное поверье, что дело с неудачным началом обречено на еще худший конец. У него началось куда как неудачно. Что же будет в конце?

Припав к земле, бойцы терпеливо ждали, сжимая в руках забинтованные стволы оружия. Он тоже подождал немного, потом вынул часы. Те исправно, как ни в чем не бывало делали свое дело, показывая половину третьего. Минула большая часть ночи. Немало прошли и они, но километров двадцать еще оставалось. Если только он не потерял направления. Заметавшись под этим обстрелом, он ни о каком направлении, конечно, не думал; теперь надо было исправлять положение.

Он сориентировал компас. Визир, установленный на двести десять градусов, указывал в кустарник. Во тьме вьюжной ночи ни зги не было видно, и он решил, что, по-видимому, придется продираться сквозь заросли. Иначе недолго совсем заплутать. Или попасть в лапы к немцам.

— Тсс!

Из мрака донесся чей-то слабый неясный голос, Краснокуцкий поднялся на лыжи и, пригнувшись, шагнул куда-то. Минут пять оттуда больше ничего не было слышно, а потом во тьме что-то мелькнуло и завозилось, белое и неуклюжее. Ну, конечно, двое, согнувшись, волоком тащили Хакимова.

Они все разом вскочили на ноги, схватились за палки. Но помощь уже не понадобилась. Лукашов с Краснокуцким дотащили Хакимова и тут же упали коленями в снег. Лукашов, устало дыша, сказал:

— Вот. Едва нашел. Палка одна воткнута была. Его палка. Смотрю, торчит. А он через десять шагов. Уже снегом заметать стало.

— Что, жив? — спросил лейтенант.

— Жив, но плох. В спину его ударило. И в живот, кажется.

Час от часу не легче. Еще один! Несчастный Хакимов. Такой старательный, подвижный, внимательный парень. Он с первой встречи понравился командиру: немногословный, сообразительный. Но что же теперь с ним делать?

— Так. Быстро перевязать!

— Я тут немного обмотал. По кухвайке. Без памяти он...

Пока двое возились в снегу, перевязывая раненого, Ивановский, расслабив простреленную ногу, растерянно смотрел в темень. Конечно, Хакимова придется тащить с собой. Но как? И до каких пор? И что делать с ним завтра? Все было трудно, неясно и очень скверно, но лейтенант старался не выдать своего затруднения. В том деле, на какое они шли, он должен знать все, все уметь и быть для других воплощением абсолютной уверенности.

— Так. Перевязали? Делайте связку из лыж. Что, не знаете как? Пивоваров, давай палатку! — с деланной бодростью закомандовал лейтенант.

— Да разве утащишь так? — усомнился Краснокуцкий.

— Утащишь. Снимай с винтовки ремень. Давай кто брючный свой. С него тоже все ремни снимите. Заберите патроны. Все, все. И гранаты тоже. Судник, заберите гранаты. Теперь берите вдвоем. Один за ремень, так. Вы, Пивоваров, страхуйте сзади. Смелее, смелее, не бойтесь.

Кое-как уложив на связку лыж раненого, они поволокли его на опушку. Получилось не ахти как — громоздко и неустойчиво, лыжи разъезжались на снегу, а тело раненого все время норовило завалиться на бок. Сзади тянулась глубокая борозда в снегу. Неизвестно, как далеко можно было так тащить.

Но другого выхода у них не было. Отсюда к своим не отправишь, а оставить негде. Конечно, теперь придется повозиться. Теперь уже вряд ли они успеют к утру...

Они нерешительно полезли в кустарник. То и дело останавливались, поправляли лыжи, едва удерживая на них Хакимова. Тащил Краснокуцкий; Пивоваров, согнувшись, подталкивал и придерживал. Лукашов, идя сзади,

иногда помогал, тихо понукая обоих. Лейтенант, то и дело оглядываясь, шел впереди.

К счастью, кустарник не завел их в лес, как того опасался Ивановский, и спустя полчаса они снова оказались в поле. Ветер здесь еще усилился, гуляла поземка. Насквозь пересыпанные снегом, они выбрались на чистое и остановились, чтобы осмотреться и перевести дыхание.

— Так что же делать, лейтенант? — озабоченно выпрямился сзади Лукашов. — Так мы его и будем тащить?

— А что делать? Что вы предлагаете? — с нескрываемым раздражением спросил лейтенант.

— Может, оставили бы где? Если в деревне какой? Или, скажем, в сарае?

— Нет, не оставим, — твердо сказал Ивановский. — Перестаньте об этом и думать.

— Ну что ж, нет так нет, — вдруг согласился Лукашов. — Только далеко ли уйдем так?

— Надо быстрее, — встрепенулся лейтенант. — Из всех сил быстрее! Поняли?

Не оглядываясь и заметно припадая на правую ногу, он пошел в темень. За ним тронулись на лыжах остальные.

Все подавленно и устало молчали.

5

Прежний темп этой сумасшедшей гонки был безвозвратно утерян, который час они брели в метели, как сонные мухи, и лейтенант заботился лишь о том, чтобы не потерять направления. То и дело он останавливался, надо было свериться с компасом и подождать волокушу с Хакимовым. Краснокуцкий с Пивоваровым выбивались из сил. Да и сам лейтенант шатался от усталости, в голове пьяно кружилось от ветра, тяжело давило на плечи оружие, все сильнее болела нога. Но он по-прежнему шел впереди, и Судник, на удивление, от него не отставал. Боец был нагружен сверх всякой меры: кроме своих бутылок, нес еще три килограммовые гранаты Хакимова, его винтовку, которую они не решились бросить, и его вещмешок.

Как-то в темноте им попался в пути занесенный снегом стожок, завидя который лейтенант свернул с прямой и через минуту обессиленно ткнулся плечом в пересыпанное снегом, но по-прежнему пахнущее летом и солнцем сено. Ноги его на лыжах как-то скользко поехали в сторону, и он мягко сполз телом в запорошенный снегом сугроб. Несколько секунд тихо лежал в сладостной неподвижности, зажмурившись и ощущая, как все под ним закружилось в каком-то сонном, бездумном вращении. Испугавшись, что тотчас уснет, он огромным усилием воли заставил себя подняться. Нет, кажется, никто не заметил этой его минутной слабости, которой он устыдился

в тот момент больше чего-либо другого. Тем временем пришел к стожку Судник, подтащили палаточную волокушу с Хакимовым. Последним тоже устало выполз из сумерек Лукашов. Все молча попадали под стожок.

— Много еще? — с трудом выдавил замыкающий.

— Немного, немного, — с деланной бодростью сказал лейтенант. — Но надо спешить. Там шоссе, его мы должны перейти до рассвета. Днем ничего не выйдет.

— Так, все ясно, — сказал Лукашов. — Тогда потопали.

— Да, надо идти, — подтвердил лейтенант, однако не находил в себе сил сразу оторваться от мягкого бока стожка.

— Ну, взяли саночки. Раз, два! — скомандовал Лукашов, и лейтенант не в первый уже раз мысленно отметил, что этот сержант все увереннее стал командовать в группе. Он и в пути все покрикивал на остальных, подгонял, указывал. Занятый определением маршрута и наблюдением за местностью впереди, Ивановский до сих пор просто не думал, хорошо это или плохо. Впрочем, как замыкающий сержант вполне его устраивал. Замыкающий из него был отличный, у такого наверняка никто не отстанет.

— Так, встать! Встать! — негромко, с привычной настойчивостью понукал Лукашов, сам уже ставший на лыжи и готовый двинуться. Краснокуцкий с очевидным усилием поднялся, закинул за плечо ременную лямку от волокуши. Один Пивоваров остался сидеть, привалясь боком к стожку, и не шевелился.

— Ну а ты что? Особого приглашения ждешь? Пивоваров!

Пивоваров слабо повернулся и не встал.

— Что это с вами? — спросил лейтенант.

— Я не могу, — с обезоруживающей откровенностью сказал боец.

— То есть как — не могу?

— Не могу. Оставьте меня.

— Вот это да! — удивился Ивановский. — Ты что, шутишь?

— Дурит он, а не шутит, — убежденно сказал Лукашов и прикрикнул: — А ну встать!

Тонкий, слабосильный Пивоваров, видно, не рассчитывал на такую дорогу и уже дошел до предела в своих и без того не очень больших возможностях. Вряд ли из него можно было еще что выжать, но и оставлять его под этим стожком тоже никак не годилось.

— А ну поднимайтесь! — строго скомандовал Ивановский. — Сержант Лукашов, поднимите бойца!

Он не мог ничего другого, кроме как по всей строгости употребить свою власть, — только она одна и могла тут подействовать. Лейтенант, разумеется, сознавал всю бессердечность своего далеко не товарищеского требования,

понимал, что этот, в общем, послушный и исполнительный боец заслуживал лучшего с ним обращения. Но в этой дороге Ивановский перечеркнул в себе всякую дружескую сердечность, оставив лишь холодную командирскую требовательность.

Лукашов подступил к бойцу и вырвал из снега палку.

— Слышал? Встать!

Пивоваров расслабленно зашевелился, начал вставать, как бы раздумывая, едва преодолевая в себе усталость, и Лукашов вдруг вскипел:

— Кончай придуриваться! Встать!

Сильным рывком за ворот сержант попытался поднять бойца на ноги, но Пивоваров лишь завалился на спину, вскинув вверх ногу с лыжей. Лукашов дернул еще — боец серым бессильным комком скорчился в поднятом им снежном вихре.

Не осилив в себе странного, не в ладу с его желанием вспыхнувшего чувства, лейтенант резко перекинул на разворот здоровую ногу.

— Отставить! Лукашов, стой!

— Чего там стой! Нянькаться с ним...

— Так, тихо! Он не притворяется. Пивоваров, а ну... Пару глотков...

Ивановский снял с ремня флягу, всю дорогу береженную им на потом, на завтрашний день, который, по всей видимости, придется провести в снегу и неподвижности, да еще на обратный путь, а он, вполне возможно, будет похуже этого. Даже наверняка будет хуже. По крайней мере их теперь не преследовали, их просто еще не обнаружили, ночь и метель надежно скрывали их след. А что будет завтра? Вполне может случиться, что завтра они будут с нежностью вспоминать эту обессилившую их ночь. Но как бы там ни было сегодня, а не дойдут в срок — просто не будет у них никакого завтра.

Пивоваров несколько раз глотнул из фляжки, посидел еще, будто в раздумье, и, пошатываясь, встал.

— Ну и хорошо! Давайте сюда винтовку. Давайте, давайте! А вещмешок возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него вещмешок. Совсем мало осталось. Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведаем, высмотрим и вечером такой тарарам устроим. На всю Смоленщину! Только бы вот Хакимова дотащить. Как он там, дышит?

— Дышит, товарищ лейтенант, — сказал стоявший в своей ременной упряжке Краснокуцкий. — А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в стожок...

— Нет! — жестко сказал Ивановский. — Не пойдет. А вдруг немцы? Тогда как: нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он наказывал: держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет держаться.

— Так-то оно так, — вздохнул Краснокуцкий. — Да только бы не напрасно тащили...

Это верно, подумал Ивановский, вполне возможно, что и напрасно. Скорее всего именно так и будет — сколько времени боец не приходит в себя. Да еще эта тряска, холод, зачленеет, и все. А бойцы, которые тащат его, могут выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь даже себе, начинал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в невольного их мучителя, если не больше.

А ведь это был их товарищ, которому лишь по слепой случайности выпало стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Но разница между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах благодарность и скорбь, Хакимов же чем дальше, тем больше вызывал нечто совсем другое. В то же время было совершенно понятно, что вся его оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант понимал, какое это бедствие — раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут обнаружить немцы. Но как Ивановский ни мучился от сознания столь безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было законом для разведчиков Волоха, таким оно останется и в группе Ивановского.

Как и все в группе, ее командир совершенно вымотался за эту чертовски трудную ночь. Превозмогая несильную, но ежесекундную боль, он едва двигал раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях, и это без скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он начал чувствовать в себе некоторую неловкость оттого, что, вынуждая других на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить с остальными все тяготы.

Они обошли опушку хвойного леса и снова двигались речной поймой, которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две переметенные снегом дороги они перешли благополучно, теперь оставалась последняя — большое и, конечно, никогда не пустующее фронтовое шоссе,

перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров пять, и лейтенант, шатаясь от усталости, дождался в темноте Краснокуцкого.

— Ну как?

— Да вот скоро вытянусь. Дали бы глотнуть, что ли?

Лейтенант дал ему флягу, тот сделал несколько затяжных глотков.

— Ну, лучше?

— Вроде бы. Скоро зашабашим?

— Скоро, скоро. Давайте помогу. Вдвоем потащим.

— Да ну, какое вдвоем! Только маяться будем. Уж я как-нибудь... Вроде буран стихает.

Лейтенант огляделся и, к удивлению своему, обнаружил, что буран действительно почти стих. Черное небо поднялось, отслоясь от земли, внизу лежало спокойное белое поле, странно вспучившееся сочной ночной белизной, по сторонам опять проступила кружевная вязь кустарников с редкими кляксами молодых елочек. По-видимому, близилось утро. Отекшей рукой Ивановский достал из кармана часы — было четверть седьмого.

— Ого! Еще рывок, и конец. Привал до самого вечера.

Новое беспокойство на короткое время придало сил, и лейтенант энергично задвигал лыжами. Шли вдоль низкорослого, черневшего на снегу верболоза. Не унималась вспыхнувшая досада оттого, что так не вовремя стихла метель, которая теперь была бы куда как кстати. Без нее перейти шоссе будет труднее, тем более если они запоздают. По всей видимости, им не хватает какого-нибудь часа темноты, и этот час может решить все. Генерал в коротком напутствии перед выходом настойчиво советовал максимально использовать темноту — только ночь сулила им какую-то надежду на успех; днем, обнаружив их, немцы, конечно, постараются истребить всех до единого. А ночью они еще смогли бы оторваться и уйти. Что это именно так, лейтенант отлично понимал без доказательств, но все-таки он был признателен генералу за его заботу и добрый совет, в которых чувствовалось что-то совсем не генеральское, а скорее отцовское по отношению ко всем им и к лейтенанту тоже. Безусловно, они тоже понимали, что на них возлагалось. С этой ночи они становились единовластными хозяевами своей судьбы, потому что в трудную минуту помочь им не сумеет никто — ни генерал, ни сам господь бог. Но всю дорогу в снежной круговерти этой суматошной ночи лейтенант нес в себе немеркнущий огонек благодарности генералу за его человеческое участие. Этот огонек грел его, вел и таил в себе желанную надежду на успех...

Три дня назад, околачиваясь при штабе после выхода из немецких тылов, Ивановский более всего боялся попасть на глаза именно этому придирчивому, строгому и всевластному генералу, начальнику штаба. Да и не только он — многие в тихой лесной деревеньке, где размещался штаб, с немалой опаской

проходили мимо его высокой, с резными наличниками избы. Генерал был беспощадно строг ко всем подчиненным, а здесь, разумеется, все, кроме разве командующего, находились в его прямом подчинении. Одному богу было известно, за что он мог в любую минуту придраться: генерал не терпел праздношатающихся, нарушителей формы одежды и маскировки, тех, кто не так быстро, как ему хотелось, исполнял или передавал приказания — мало ли за что может придраться к подчиненному строгий начальник в армии! Как-то Ивановский явился невольным свидетелем, как генерал распекал одного полковника за отсутствие каких-то данных на участке левого фланга и как после этого полковник, в свою очередь, разносил командира разведроты, две разведгруппы которого не возвращались из-за линии фронта, хотя миновали все сроки их возвращения.

Ивановский здесь был случайным, чужим человеком. За время своей не слишком продолжительной армейской службы ему не доводилось бывать нигде выше штаба дивизии, и теперь он с интересом наблюдал в общем тихую и довольно мирную жизнь этого тылового учреждения. Раза два, впрочем, в деревне поднимался переполох — налетали "юнкеры"; сброшенные с них бомбы, однако, особого вреда не причинили, только разрушили пустующий сарай и убили на улице оседланную верховую лошадь. В остальном все здесь шло мирно и спокойно, разве что иногда начштаба начинал обходить отделы, и тогда все эти полковники, капитаны и их кропотливые писари приходили в состояние кратковременной тревоги и сумятицы. Но, наложив пару взысканий, кое-кому выговорив, а кое на кого накричав, генерал скоро уходил, и в штабе опять все шло как обычно.

Перейдя линию фронта, лейтенант появился здесь с двумя уцелевшими разведчиками, так как после гибели капитана Волоха счел своей обязанностью доложить обо всем, что произошло за две недели их блуждания по немецким тылам. Но озабоченные своими делами штабные начальники отнеслись к нему без особого внимания, и это его задело. Слишком свежа была в его сознании боль многих утрат, смерть Волоха, все их невероятные испытания там, в тылу у немцев, чтобы он так просто мог примириться с этим невниманием закопавшегося в свои бумаги начальства. Он пришел в избушку разведотдела к белокурому молодому полковнику и с ходу начал было излагать ему суть дела, но тот долго и невидяще глядел на него, явно при этом думая о другом. Потом полковник бесцеремонно оборвал рассказ лейтенанта и приказал все изложить письменно. Попутно он спросил, прошел ли лейтенант спецпроверку в Дольцево, где находился сборный армейский пункт для фильтрации выходящих из немецкого тыла окруженцев.

Ивановский обиделся. Он сказал белокурому полковнику, что Дольцево от него не уйдет, а вот немецкий склад боеприпасов может уйти, и тогда все

их усилия и все жертвы, в том числе и гибель замечательного разведчика капитана Волоха, будут считаться напрасными.

— Как напрасными? — кажется, впервые чему-то удивился полковник и оторвал карандаш от бумаги, на которой старательно вычерчивал какую-то сложную, со множеством граф таблицу.

— Очень просто, — сказал лейтенант. — Погибли без результата. Ни за понюх табаку.

— Вот как! — сказал полковник и встал, одергивая гимнастерку и поигрывая под ней завидно развитой мускулистой грудью. — Вы из какой, сказали, дивизии?

Ивановский назвал дивизию и полк. Полковник поморщился.

— Это какой же армии? Это даже не нашего фронта. Так не пойдет, пишите объяснение.

Пришлось все-таки приниматься за объяснение. Он сочинял его двое суток, хоронясь от придирчивого генерала, который как раз приехал с передовой и по обыкновению после недолгого отсутствия наводил в штабе порядок. Ивановский приютился на время в штабном АХО, с писарем которого накануне распил фляжку шнапса, и тот великодушно поделил с "ничейным" лейтенантом свою кровать в полуразрушенном пустующем доме. Правда, вдобавок к фляге пришлось одарить гостеприимного писаря трофейным зеркальным компасом и навсегда расстаться с изящной зажигалкой-монахом. Но за два дня он составил пространный отчет размером в две школьные тетради в клеточку. Наверное, он бы написал его и быстрее, если бы полдня накануне не пришлось урвать от работы для вынужденного визита в особый отдел этого штаба. Но все обошлось благополучно.

Когда он принес свое сочинение, белокурый полковник был, видно, не в духе. Размашистым точным движением он, не глядя, перебросил тетради на стоявший по соседству стол, за которым сидел над бумагами бровастый майор.

— Ковалев, вот займитесь. Мне некогда.

Но Ковалев тоже не мог по какой-то причине прочесть это сразу, и лейтенанту ничего более не оставалось, как удалиться и ждать в своей развалюхе. Он уже вскинул было руку к пилотке, чтобы получить разрешение на уход, как дверь в избу широко распахнулась и на пороге, нагибая под притолокой голову, появился тот самый, кого он больше всего боялся здесь встретить. Командиры вскочили за своими столами, а Ивановский только развернулся всем корпусом да так и замер с поднесенной к пилотке рукой.

Наверное, его затрапезный, непривычный здесь вид — Ивановский был в писарской телогрейке, без знаков различия на ней и в засаленной суконной пилотке, — а все командиры штаба ходили в добротных цигейковых шапках — показался необычным и остановил на себе острый взгляд генерала.

— Кто такой? — Тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил он, обращаясь к полковнику.

— Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка такой-то дивизии, — с деланной лихостью и сразу упавшим голосом отрапортовал лейтенант.

— Какой, какой дивизии?

Ивановский твердо повторил номер своей дивизии.

— Не знаю такой. Что вы здесь делаете?

— Он из окружения, — сказал полковник, стоя перед генералом и всей своей импозантной фигурой являя подчеркнутую почтительность с легким оттенком какой-то фамильярной вольности. Ивановский же окаменело застыл навтыжку, впервые в жизни разговаривая с таким высоким начальством.

— Окруженец? Почему здесь? Почему не в Дольцеве?

Новое упоминание о ненавистном Дольцеве опять неприятно задело лейтенанта, но теперь это чувство задетости тут же и помогло ему освободиться от сковавшей его неловкости.

— Я здесь по поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал.

— Новое дело! — сказал генерал, не проходя к столу и стоя влоботорота к лейтенанту. Взгляд его придиричьих глаз не сходил с вытянувшейся фигуры Ивановского. — Что за база? Где? Откуда вам про нее известно? Вы разобрались, полковник?

— Разбираюсь, товарищ генерал, — совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор, сказал полковник. Этот его тон человека, говорящего не совсем то, что имело место в действительности, вынудил лейтенанта на новую по отношению к нему дерзость.

— Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал, — выпалил Ивановский. Генерал метнул острый вопросительный взгляд в сторону лейтенанта, потом — полковника. И лейтенант, чувствуя, что тут что-то раз и навсегда решится, добавил: — Артиллерийская армейская база в шестидесяти километрах отсюда. Несколько эшелонов боеприпасов, охрана минимальная, вокруг проволочный забор в один кол. Можно уничтожить.

— Вот как? Вы уже и разведали? — сказал генерал и повернулся к нему всем корпусом в распахнутом полушубке, из-под белых бортов которого коротко блеснула эмаль орденов. Голос его уже оттаивал, лейтенант с радостью отметил это и тут же решил выложить все напропалую.

— Запросто можно взорвать. Или сжечь. И наступающие на Москву немцы останутся поэтому без боеприпасов.

Он тотчас пожалел о своей опрометчивости, видимо, сразу охладившей только что вспыхнувший к нему интерес генерала, который что-то

неопределенное буркнул в воротник полушубка и опустился возле стола на скамейку. Остальные остались стоять на своих местах.

— Говоришь, запросто? Пых — и немецкие войска без снарядов? Так, что ли?

— Не совсем так, товарищ генерал, — попытался исправить свою оплошность Ивановский. — Мы уже пытались, но...

— Уже и пытались? Успели. Ну и что же?

— Двоих потеряли. В том числе капитана Волоха.

— Вот то-то, лейтенант... Как тебя? Ивановский. С кондачка не возьмешь, с головой надо. Но он молодец, — сказал генерал, обращаясь к полковнику. — Если так, пошлите его с группой. Дайте человек десять. Займитесь этим. И без промедления.

— Он без проверки, товарищ генерал, — тихо вставил полковник. Генерал недовольно двинул бровями.

— Ерунда! Его уже проверяли. Немцы проверили. А это вот будет второй проверкой. Я скажу Ключину. — И, повернув голову к просиявшему лейтенанту, сказал, ободряюще повысив голос: — Готовьте группу, лейтенант. Вот с ним. Послезавтра доложите о готовности. Ясно?

— Есть! — не произнес, а почти по-ребячески восторженно выкрикнул Ивановский и, лихо козырнув, закрыл за собой дверь.

Назавтра ему повезло меньше. Полковник, к которому он снова пришел поутру, отправил его к какому-то майору Коломийцу, лейтенант прождал этого Коломийца полдня, и когда наконец дождался и передал приказание полковника, тот тихо этак сразил его первой же фразой:

— А где я возьму людей? У меня никого нет, остался один ездовой.

Почувствовав, что опять все рушится, Ивановский не стал больше ничего выяснять или доказывать, а, полный новой решимости, скорым шагом направился к высокому дому с красивыми ставнями. Конечно, его туда не пустили, он затеял глупую и безуспешную ссору с невозмутимым часовым у крыльца и просто уже был в отчаянии, когда дверь в избу внезапно распахнулась и на пороге появился сам генерал. Он не сразу узнал вчерашнего лейтенанта, и тому пришлось снова назвать себя и дрогнувшим голосом сообщить, что с организацией группы ничего не выходит. Генерал гневно сверкнул глазами, словно в этой неудаче был виноват сам Ивановский.

— Как не выходит?

— Нет людей, товарищ генерал. Полковник послал...

— Зименькова ко мне! — бросил он кому-то, кто стоял у него за спиной, и тот проворно скрылся в сенях, куда, ни слова больше не сказав, удалился и генерал. Ивановский остался стоять у крыльца один на один с часовым, который с молчаливым злорадством посматривал на него. "А все-таки не

пройдешь", — было написано на его физиономии. Но лейтенант уже не рвался в эту просторную избу. Он покорно прождал минут двадцать, пока на крыльце не появился старший лейтенант в новом полушубке с маузером через плечо.

— Идите к капитану Зименькову и получите людей. Завтра в тринадцать ноль-ноль генерал ждет с докладом о готовности группы.

— Есть! — сказал Ивановский. Он не спросил даже, кто этот капитан Зименьков и где его искать, — пришлось разузнавать об этом у коноводов на улице. И действительно, к вечеру у него на руках уже был список из восьми бойцов и одного старшины; десятым в этом списке значился он сам.

И лейтенант начал готовиться.

Кроме людей, надлежало получить боеприпасы, бутылки КС, взрывчатку, два метра бикфордова шнура. Четверо из девяти были в обтрепанных шинелишках без телогреек, нужно было их переобмундировать. Кто-то долго не хотел выдавать маскхалаты (на накладной не было подписи старшего начальника); за лыжами пришлось ездить в тыловую, за пятнадцать километров, деревню. Последнюю ночь перед выходом он едва прикорнул пару часов, поел только раз за день, выстоял на трех инструктажах, но в тринадцать тридцать все-таки привел группу к высокому с красивыми ставнями дому. На этот раз его беспрепятственно пропустили внутрь, и он с трепетной радостью доложил о готовности выполнить боевой приказ.

Генерал закончил телефонный разговор и положил трубку. Как был в меховом поперх гимнастерки жилете, молча вышел во двор, где, выстроившись по команде "смирно", ждали девять бойцов с Дюбиным во главе. Генерал молча прошелся перед этим строем, осмотрел все, и на его немолодом уже, в морщинах, с провалившимися щеками лице впервые за время своего пребывания в штабе Ивановский не обнаружил и следа пугающе начальственной строгости. Теперь это было просто усталое лицо обремененного многими заботами, плохо выспавшегося, пожилого человека.

— Сынки! — сказал генерал, и что-то в душе лейтенанта странно дрогнуло. — Все знаете, куда идете? Знаете, что будет трудно? Но нужно. Видите, метет, — показал он в низко нависшее облачное небо, из которого падал легкий снежок. — Авиация на приколе. На вас вся надежда...

Он и еще говорил, наставляя, как вести себя в трудную минуту в тылу, где уже никто, кроме товарища, не сможет тебе помочь. Но он мог бы и не делать этого — лейтенант имел достаточный опыт боевых действий в немецком тылу, накопленный за время двухнедельных блужданий по смоленским лесам. А вот его совершенно не начальнический, почти дружеский тон и его участливое отношение к их полным неизвестности судьбам с первых слов сразили лейтенанта, который с этой минуты готов был на все, лишь бы оправдать эту его человеческую сердечность. Даже сама

смерть в этот момент не казалась ему чем-то ужасным — он готов был рисковать жизнью, если это понадобится для Родины и если на это благословит его генерал.

Наверно, так чувствовал себя не один он, а и другие в этом коротеньком строю во дворе, преисполненные внимания и решимости. И когда Ивановский, отдав честь, повернул группу на выход, в его душе неумолчным торжествующим маршем звучали фанфары. Он знал, что выполнит все, на что послан, иного не должно, а потому и не могло быть...

6

Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в голом, белоснежном после ночной вьюги поле, на подходах к шоссе.

Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, как вдруг увидел на ней спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады — не хватило каких-нибудь пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился какой-то конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. Стало ясно: начинался день и усиливалось движение; перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать.

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но и не удаляясь от него, круто взял в сторону, на недалекий голый пригорок с реденькой гривкой кустарника. Укрытие там, судя по всему, было не бог весть какое, но и ждать в ложине на виду у шоссе тоже никуда не годилось — стало светло, и каждую минуту их могли обнаружить немцы.

Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив из волокуши раненого, и лейтенант, преодолевая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже кустарнику. Однако на полпути к нему перед Ивановским вырос из снега какой-то довольно высокий вал, ровно прорезавший пригорок и уходивший к шоссе. Лейтенант в недоумении остановился, но вскоре все понял и обрадованно махнул медленно бредущим за ним товарищам — давайте скорее!

Это был полузаметенный снегом противотанковый ров, одно из тех многокилометровых полевых сооружений, которые с начала войны во всех направлениях изрезали русскую землю. Сколько труда было затрачено на их устройство, но лейтенант не мог вспомнить случая, чтобы такой ров сколько-нибудь задержал продвижение танковых армий Гитлера. Колоссальные эти сооружения, наверно, только тогда оправдывали свое назначение, когда были

надежно прикрыты огнем пехоты и артиллерии, в противном же случае их танконепроходимость ненамного превосходила непроходимость обычной придорожной канавы.

Но теперь ров попался им весьма кстати на этом открытом пригорке, и лейтенант, не мешкая, наискось съехал на его широкое, переметенное снежным сугробом дно. Тут было затишнее и довольно глубоко, ветер с одного края намел изящный фигурный застрешек, образовавший некоторое укрытие сверху. Наверно, какое-то время тут можно было отсидеться.

Один за другим они ввалились в это укрытие и тут же попадали на мягкие изгибы суметов. Он тоже упал, словно впаялся задом в плотно спрессованный вьюгой снег, и, жарко дыша, долго невидяще глядел, как снежной пылью курился на ветру гребешок застрешка напротив. Он не знал, как быть дальше, где и как перебраться через злополучное шоссе, не представлял себе, что делать с раненым. Он чувствовал только, что с прошлой ночи все пошло не так, как он на это рассчитывал, все выходило хуже, а может статься, что закончится и совсем плохо. Но он не мог допустить, чтобы после стольких усилий все завершилось неудачей, он чувствовал, что должен до последней возможности противостоять обстоятельствам так, как если бы он противостоял немцам. Не подвели бы силы, а решимости у него хватало.

Минут двадцать они лежали во рву, не проронив ни единого слова, и он не мог найти в себе силы, чтобы заговорить и назначить наблюдателя. Он лишь мысленно твердил себе, что сейчас, сейчас надо кого-то назвать. Хотя все они были до крайности измотаны, но кто-то должен был пожертвовать отдыхом и вылезть наверх, на ветер и стужу, чтобы не дать противнику застать врасплох остальных.

— Надо наблюдателя, — наконец сонно произнес Ивановский и переждал немое молчание лыжников. — Судник — вы.

Судник, привалясь спиной к снежной стене, держал на коленях набитый опилками вещмешок со своим деликатным грузом. Похоже, он спал. Голова его в мокром капюшоне была запрокинута, глаза прикрыты.

— Судник! — громче позвал лейтенант.

— Счас, счас...

Еще немного помедлив, боец рывком выпрямился, сел ровнее. Затем, опершись на руки, встал и, резко пошатнувшись, едва не упал снова.

— Тихо! Бутылки! — испугался лейтенант, и этот испуг разом вырвал его из состояния крайней одуряющей усталости.

Оставив лыжи внизу, Судник вскарабкался на высокий, крутой бруствер чуть в стороне от бойцов и залег за ним — белым пластом на свежем снегу.

— Как там? Идут? — спросил Ивановский.

— Идут. И конца не видеть.

Ну, конечно, они будут идти, не будут же они ждать, когда он благополучно переберется на ту сторону, чтобы уничтожить их базу. У них свои цели и свои задачи, прямо противоположные его задаче, и он подумал: хорошо еще, что поблизости нет их стоянок, тыловых частей, иначе бы он недолго просидел в этом укрытии.

Наверно, прошло около получаса, Ивановский прохватился от стужи — разгоряченное при ходьбе тело начал пробирать мороз. Все, кроме Судника на бруствере, неподвижно лежали в изнеможении, и он, подумав, что так запросто можно обморозиться, воскликнул:

— Не спать! А ну сесть всем!

Кто-то заворошился, Лукашов сел, мутным от усталости взглядом обвел снежное укрытие. Пивоваров не тронулся с удобного в снегу места — он спал. И лейтенант, подумав, решил, что, по-видимому, и надо все-таки дать несколько минут вздремнуть, иначе их просто не сдвинешь с места. Авось за тридцать-сорок минут не замерзнут. Правда, сам он в таком случае уснуть уже не имел права.

Немалым усилием, подкрепленным сознанием близкой опасности, Ивановский отогнал от себя одуряющую дрему, напрягся и встал. Его давно беспокоил Хакимов, но только теперь появилась возможность осмотреть его, и лейтенант, пошатываясь, подошел к раненому. Как и опасался командир, боец был плох. Наверно, все еще не приходя в сознание, он неподвижно лежал на лыжах, туго завернутый в обсыпанную снегом палатку, в тесном отверстии которой проглядывало его бледное, с синюшным оттенком лицо. От частого, трудного дыхания края палатки густо заиндевели, и снежинки, осыпаясь с них, сразу же таяли на мокрых щеках Хакимова — у него был жар. Склонившись над бойцом, лейтенант тихонько позвал его, но тот никак не реагировал, продолжая напряженно, часто дышать.

Посидев над раненым, Ивановский начал сомневаться в правильности своего решения, обрекавшего Хакимова на эту многотрудную дорогу. Может, действительно лучше было бы оставить его в каком-нибудь стожке сена дожидаться возвращения группы. Но тогда с раненым пришлось бы оставить и еще кого-то, а на это лейтенант согласиться не мог: и без того из десяти человек их осталось всего лишь пятеро. И перед этими пятью все усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с запозданием, сюда прибыли. Для выполнения этой задачи прежде всего надо было перейти шоссе, но как это сделать на виду у забивших дорогу немцев, лейтенант не мог взять в толк.

Мысли об этом шоссе теперь не выходили у него из головы, и скоро он встал. Хакимову он ничем не мог пособить, а о задаче он просто ни минуты не мог не думать. Он воткнул в сугроб лыжи и, шатко ступая в снегу, полез на

бруствер к Суднику. Тут было ветрено и холоднее, чем на дне рва, зато открывался широкий обзор на поле с обоими концами шоссе, середину которого скрывала вершина холма. Туда же уходил ров. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, широко разбрелись перелески и кустарники, а вдали и несколько в стороне от речной поймы темнел знакомый сосновый лесок, так неласково встретивший их однажды.

Лейтенант вынул из-за пазухи карту, сориентировался. База намеренно не была помечена на его карте, но он и без того твердо помнил место ее расположения на северном выступе крохотной надречной рощицы. Теперь, найдя на карте этот пригорок, лейтенант увидел, что их разделяло всего каких-нибудь два километра, не больше. Опять стало мучительно обидно: так это было близко и так недоступно. Из-за этого проклятого шоссе приходилось терять целый день — целый день мучиться в неизвестности и терпеть стужу.

Вместе с Судником Ивановский стал наблюдать за шоссе, на котором в течение коротеньких промежутков времени выпадали небольшие разрывы в движении. Шли в основном грузовые — крытые и с открытыми кузовами машины самых различных марок, видно, собранные со всех стран Европы. Большинство их мчалось на восток, к Москве. И вдруг лейтенант подумал, что если не всем и не с раненым, то хотя бы с одним-двумя, наверное, стоит рискнуть и, используя ров, перебраться через шоссе на ту сторону. По крайней мере, за день он бы там многое высмотрел, разведал, составил план действий, а с наступлением ночи перевел бы через шоссе всю группу.

Эта мысль сразу придала ему бодрости, новая цель вызвала дополнительные силы для действия. Он сполз с бруствера, негромко, но энергично, шумнул лыжникам:

— Подъем! Попрыгать, погреться всем! Ну!

Краснокуцкий, Лукашов сразу поднялись, обшлепывая себя рукавицами, замахали руками. Лукашов растормошил ословелого со сна Пивоварова.

— Греться, греться! Смелее! — настаивал лейтенант и тут же вспомнил наилучшую для подъема команду: — А ну завтракать! Лукашов, доставайте консервы! Всем по два сухаря.

Лукашов, сонно подрагивая, достал из сумки несколько ржаных сухарей и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрипом вспорол ножом ее жестяное дно, и они ножами и ложками принялись выскребать мерзлое ее содержимое.

— Ну как, Пивоварчик, вздремнул? — искусственно подбадриваясь от холода, спросил лейтенант.

— Да так, кимарнул немного.

— Что ж ты сдал было, а?

— Притомился, товарищ лейтенант, — просто ответил боец.

— А я-то думал, ты крепачок, — с легкой шутливостью заметил Ивановский. — А ты вон какой...

— Подбился я.

Он не оправдывался, не ныл, вид его теперь, после короткого отдыха, был смущенно-виноватым, смуглые щеки со сна горели почти детским румянцем.

— Подбился! — осуждающе передразнил Лукашов. — Чай не у мамки. Тут того — отставший хуже убитого.

— Убитый что, убитый силы не требует. А тут во — пузыри на руках от веревки, — показал Краснокуцкий свои распухшие красные ладони — ему, разумеется, досталось за минувшую ночь. Но кому не досталось? И еще неизвестно, что всем им достанется в скором будущем.

— А то вон умники, — прежним раздраженным тоном продолжал Лукашов. — То ли смылись, то ли заблудились. А тут за них отдувайся.

Он имел в виду Дюбина с Зайцем, о которых также ни на минуту не забывал лейтенант. С убитым все было ясно; очень трудно, но все же понятнее было с Хакимовым — старшина же с Зайцем исчезли в ночном пути, будто провалились сквозь землю, — тихо, бесследно и загадочно.

— Хорошо, ежели просто. А то кабы еще не того, — говорил Лукашов, строго и озабоченно поглядывая вдоль рва, и лейтенант понял, на что намекал сержант. Но того, что он имел в виду, не должно быть. Вернее, Ивановский не хотел допустить и намека на мысль, что старшина Дюбин мог совершить предательство. И тем не менее он и сам был полон неуверенности и сомнения — как ни думал, не мог понять, куда запропастились эти двое из его и без того маленькой группы.

— Еще немцев по следу приведут, — простодушно отозвался Краснокуцкий. — А что: лыжня на снегу, гони — где-то догонишь.

— Все может быть, — мрачно согласился Лукашов.

— Нет, так нельзя говорить, — вмешался Ивановский. — Старшина не такой. Не тот человек.

Лукашов, жуя сухарь, устало глядел в дальний конец рва.

— Человек, может, и не тот, а все может статься. У нас вон тоже в сто девятом такой бравый капитан был, все оборону строил. И построил — оказалось, не в ту сторону. Немцы появились, первым руки поднял.

— Ну, это вы оставьте, — решительно оборвал его Ивановский. — Дюбин не капитан, это точно. И потом надо больше, Лукашов, людям верить. Вам же вот верят.

— Так то я...

— А почему вы думаете, что Дюбин хуже вас?

— А вот я здесь, а его нема.

Действительно, логика его рассуждений была почти убийственной, возразить ему было трудно. В самом деле, он же вот не отстал, хотя и был замыкающим, и еще не позволил отстать Пивоварову, который теперь сидел рядом и быстро вылизывая ложку. В общем, Лукашов был прав, но Ивановский не хотел до времени выносить приговор Дюбину. Что-то располагающее все-таки было в старшине. Консервы они скоро доели, сидя в сугробе, догрызли и сухари. Ивановский спрятал ложку в карман.

— Сержант Лукашов, — другим тоном сказал лейтенант. — Останетесь за меня. Надо кое-что разведать. Всем находиться тут. Можно отдыхать. Наблюдение круговое. Скоро вернусь. Что не ясно?

— Ясно, — с готовностью ответил Лукашов.

— И чтоб все в норме. Смотрите Хакимова.

— Все будет сделано, лейтенант. Досмотрим.

— Так. Пивоварчик, за мной!

— Я? — удивился Пивоваров, но, помедлив, начал послушно вставать.

— Берите лыжи, остальное. И потопали. Лукашов, подмените Судника. Небось зачоченел там.

Проваливаясь в глубоком снегу, местами доходившем до пояса, Ивановский направился по рву к шоссе. Лыжи они несли в руках. Ров время от времени делал небольшие изгибы, выходя из-за которых лейтенант с предосторожностью осматривался по сторонам. Но во рву и поблизости вроде никого не было; ребристые снежные суметы на дне лежали нетронутыми. Наконец стало слышно глухое урчание дизелей, пахнуло едва уловимым на морозе дымком синтетического бензина — они подошли к дороге. Ивановский высунулся из-за оголенного глинистого выступа на очередном повороте и тут же отпрянул назад. Совсем близко, в конце широкого разреза рва, промелькнул автомобильный кузов, укрытый вздувшимся на ветру брезентом, потом еще и еще. Шла колонна автомобилей, в некоторых открытых машинах возле кабин были видны нахохлившиеся фигуры немцев в зеленых шинелях. Судя по всему, их здорово-таки пробрал русский мороз, и седоки не очень засматривались по сторонам. Лейтенант сделал рукой знак замерзшему от напряжения Пивоварову и по краю сугуба взобрался на откос.

Конечно, он был далек от того, чтобы надеяться на скорую удачу, на удобный для перехода момент, но все же такого упорного невезения он не ожидал. Коченея на морозном ветру, он едва дождался, пока прогрохотали по шоссе машины, казалось, поблизости никого больше не было. Но едва он высунулся из-за смерзшихся на бруствере комьев, как снова увидел невдалеке немцев. Их было трое, это были связисты. В то время как один, взобравшись на столб, возился там с проводами, двое других с аппаратами сидели на обочине дороги — видно, налаживали связь. Из-за их спин торчали стволы

винтовок, на земле лежали мотки проводов и какие-то инструменты. Правда, занятые делом, немцы не глядели по сторонам, но, разумеется, заметили бы двоих русских, если бы те под самым носом у них вздумали перебежать шоссе.

Значит, опять надо было ждать.

И лейтенант уныло лежал на мерзлых, присыпанных снегом комьях и не отрывал глаз от шоссе. Стало чертовски холодно, мерзли ноги, раненое бедро болело все больше, и эта боль все чаще отвлекала на себя внимание. Движение на шоссе уже несколько раз то возобновлялось с наибольшей плотностью, то несколько затихало, и тогда появлялся разрыв в километр или, возможно, больше. Раза два подворачивался более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы все еще возились со своей связью. Лейтенант три раза доставал увесистый кубик танковых часов, последний раз показавший половину одиннадцатого. Связисты не уходили. Прошло полчаса, прежде чем тот, что сидел на столбе, наконец слез на землю, и лейтенант подумал, что теперь, возможно, они смоются... Но немец перешел к следующему столбу и, прицепив к ногам свои серпы-кошки, снова полез к проводам. Втроем они о чем-то негромко переговаривались там, но ветер относил их слова в сторону, и лейтенант не мог ничего расслышать.

Так продолжалось бесконечно долго. Ивановский уже начал оглядываться по сторонам, подыскивая в отдалении от этих связистов какое-нибудь более подходящее место, как увидел, что возле двух немцев на обочине появился еще один. Откуда он взялся тут, было совершенно непонятно, наверно, скрытый от него холмом, сидел где-нибудь на дороге. Лейтенант почувствовал легкий озноб: рискни он перебежать шоссе — и наверняка бы напоролся на этого невидимого четвертого немца. Между тем немец присел над аппаратом, о чем-то поговорил с остальными и махнул рукой тому, что сидел на столбе, — тот начал слезать. Пока он спускался, эти трое встали, не спеша разобрали свои сумки и ящики и направились вдоль по дороге.

На этот раз они остановились в значительном отдалении от рва, на столб уже никто из них не полез, и лейтенант глянул в противоположный конец шоссе — теперь, видно, надо было решиться. Но прежде следовало как можно ближе подойти к дороге.

Он сполз с откоса на дно рва, сильно потревожив раненое бедро. Пивоваров вскочил со своего насиженного в снегу места, Ивановский молча кивнул головой, и они, прижимаясь к крутой стороне откоса, быстро пошли по рву вниз. Тут их уже легко могли увидеть с дороги, и лейтенант скоро упал за поперечный сумет, вжался в снег, рядом проворно зарылся в снег Пивоваров. Опухшее от холода и бессонницы мальчишечье лицо бойца застыло в предельном внимании, время от времени лейтенант перехватывал его

тревожный, вопрошающий взгляд. Находясь на дне рва, боец абсолютно ничего не видел и во всем полагался на командира, который теперь принимал решения, так много значившие для обоих.

Но отсюда уже и сам лейтенант ничего не мог увидеть и вынужден был полагаться на слух, чутко улавливая все разрозненные и переменчивые звуки, долетавшие к ним с дороги. Конечно, это был не самый надежный способ из всех возможных для перехода, но другого у них не оставалось. Дождавшись, когда урчащий гул дизелей на шоссе несколько ослаб, и не уловив поблизости никаких новых звуков, Ивановский сказал себе: "Давай!" — и вскочил.

В несколько прыжков по глубокому снегу он достиг придорожного окончания рва, выглянул из него — шоссе поблизости действительно было пустым, хотя на дальний пригорок он просто не успел бросить взгляда, с бешеной прытью, пригнувшись, он выскочил на укатанную твердь шоссе и размашисто спрыгнул в сумет на дно следующего отрезка рва. На бегу он с удовлетворением отметил за собой тяжелое дыхание Пивоварова и изо всех сил припустил по дну к недалекому уже повороту. Через несколько прыжков, однако, он опять стал различать напряженное завывание моторов и в беспокойстве внутренне сжался, ожидая криков или, может, выстрелов. Но он все-таки успел скрыться за поворотом. Пивоваров несколько опоздал, но лейтенант, оглянувшись, увидел, что машины появились секундой позже того, как боец упал за изломом. Машины промчались, не сбавляя скорости, и он впервые за это утро с облегчением выдохнул горький, раздиравший его грудь воздух.

— Фу, черт!..

Оба с минуту загнанно, трудно дышали, потом Ивановский, привстав на коленях, огляделся по сторонам. Кажется, невдалеке был кустарник — реденькие его верхушки местами выглядывали из-за высокого бруствера, и лейтенант с бойцом расслабленно пошли по рву. Порядком отойдя от шоссе, они попытались выбраться в поле. К удивлению командира, Пивоварову это удалось скорее, лейтенант с первой попытки добрался лишь до половины склона и, поскользнувшись на крутизне, сполз в сумет. Опять очень заболело бедро. В этот раз он не смог или не захотел подавить в себе стон, и Пивоваров обернулся на бруствере, метнув в его сторону испуганный вопрошающий взгляд.

— Ничего. Все в порядке.

Ивановский собрался с духом, преодолел боль, боец протянул командиру лыжную палку, с помощью которой тот перевалил наконец через бруствер.

— Так. Теперь на лыжи!

Тут, наверно, уже можно было идти вдоль рва, прикрываясь со стороны дороги бруствером, местами их неплохо скрывал кустарник.

Справа в отдалении серели хвойные верхушки рощи, где ждала их удача или несчастье, слава или, может, смерть — их судьба.

7

Продираясь на лыжах через кустарник, Ивановский почувствовал приступ какого-то неприятного, все усиливающегося, почти неодолимого беспокойства.

Было совершенно непонятно, отчего оно именно в этот момент так настойчиво заявило о себе, в конце концов, кажется, все складывалось более или менее благополучно: они перешли шоссе, вроде бы их не заметили, совсем уже близка была цель их трудного многоверстного ночного пути. Хотя и с препятствиями, но приближался финал, наверное, теперь они могли что-нибудь сделать. Правда, их силы разрознились — часть потеряли при переходе линии фронта, двое исчезли в ночи, трое остались на той стороне шоссе, и здесь их оказалось всего лишь двое. Двое, конечно, не десятеро. По вряд ли именно это обстоятельство было причиной его неясного и такого неотвязного теперь беспокойства.

Чем ближе они подходили к видневшейся вдали рощице, тем все тревожнее становилось на душе у лейтенанта. Нетерпение охватило его так сильно, что он не мог позволить себе остановиться, чтобы поправить повязку на бедре, — кажется, начала кровоточить рана. Впрочем, он давно уже старался не замечать боли, к ней он притерпелся за ночь. Теперь он даже не слишком осматривался по сторонам — он из всех сил стремился к роще, словно там ждала его самая большая в его жизни награда или, может, самая большая беда. Пивоваров, весь в поту, который он уже перестал вытирать с лица рукавом маскхалата, старался не отстать, и они, запыхавшись, скорым шагом поднимались по краю кустарника. Было уже совсем светло, дул несильный морозный ветер, небо, сплошь заволоченное тучами, низко свисало над серым, невзрачным, подернутым дымкой пространством.

Достигнув вершины пригорка, Ивановский сквозь голые ветки ольшаника поглядел вниз. Перед ними была ложбина с вдавшимся в нее языком кустарника, в котором лейтенант едва узнал тот ольшаничек, где они с Волохом ждали ночи. Но вместо тогдашней чащобы, давшей приют семерым, теперь сиротливо чернели на снегу мерзлые прутья чахлах деревьев, в которых едва ли могла спрятаться птица, не то что человек. Зато на пригорочке через ложбину, как ни в чем не бывало безмятежно зеленел хвойный гаек, обнесенный нечастыми столбами немецкой ограды, у которой им так не повезло в прошлый раз, но должно повезти, не может не повезти в нынешний.

При виде знакомой изгороди у лейтенанта немного отлегло на душе — главное, он все-таки добрался до нее. Все остальное уже зависело от его

умельства, находчивости, от их смелости. Действие различных привходящих причин здесь сводилось к самому возможному в таких случаях минимуму.

Скрываясь в кустарнике, Ивановский постоял минуту или две, отдыхая и успокаиваясь от все время донимавшего его нетерпения. Он старался внушить себе, что как-нибудь все обойдется. Правда, окончательно увериться в этом ему не удалось, что-то все-таки не переставало угнетать, будоражить его и без того взбудораженные за эту ночь чувства. Пивоваров, ни о чем не спрашивая, видно, без слов понимал положение и ждал, когда они направятся дальше. Ивановский же все не мог оторвать взгляда от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь там что-то увидеть. Но там, на расстоянии в километр, если не больше, почти ничего не было заметно, кроме редких стволов свободно разбежавшихся по снегу сосен да нескольких столбов ограды. Впрочем, оно и понятно: немцы успели замаскировать объект. Они ведь тоже умели маскироваться — разные там сети, зеленые насаждения, снег. Вот только удивляло, куда девалась дорога, на которой разведчики Волоха обнаружили немецкие грузовики, перевозившие боеприпасы, — она проходила как раз по кособору к роще, а теперь там на снегу не видно было и следа. "Может, ее замело ночью?" — подумал лейтенант. Но хоть какой-то признак ее должен был сохраниться даже и после метели. А может, дорогу проложили в другом, не видимом отсюда месте? Впрочем, дорога ему сейчас была без надобности, воспользоваться ею скорее всего им не придется. Гораздо важнее было высмотреть скрытый подход к этой рощице, чтобы ночью, в темноте, незамеченными как можно ближе подползти к ограде. По всей видимости, открытая напольная сторона для этого мало годилась, надо было разведать подходы с юга.

— Пивоваров, айда! Тихо только...

Уклоняясь от цеплявшихся за капюшоны мерзлых ветвей, они пошли по кустарнику вниз в обход поля. Ивановский был весь настороже, все теперь в нем напряглось, как не напрягалось ни разу за всю прошлую суматошную ночь. Но вокруг стояла тишина, и это немного успокаивало. В который уже раз лейтенант стал прикидывать, как лучше проникнуть за изгородь, — теперь это было, пожалуй, самое важное и самое трудное в его задаче. Конечно, если штабеля близко от проволоки, то можно будет забросать их гранатами и бутылками с КС, хотя вряд ли они будут размещены на расстоянии броска гранаты. Тогда придется преодолевать изгородь. Лучше всего, пожалуй, сделать это одному, а остальным прикрыть на случай обнаружения и обеспечить отход. Пусть даже приняв недолгий бой с часовым, — на их стороне внезапность, и минуты времени им бы, пожалуй, хватило, чтобы сделать все, что понадобится. Хуже вот, если там собаки.

Но даже если и собаки, одному или двоим придется лезть через проволоку, остальные должны будут отвлечь на себя собак и принять огонь часовых. Иного не оставалось. Главное — успеть за считанные секунды зажечь и взорвать как можно большее число штабелей. Остальное сделают детонирующие взрывы, и все довершит огонь.

По мелколесью они пересекли ложину, краем опушки обошли открытый участок поля. Поблизости нигде никого не было, никто им не встретился. Шли осторожно, теперь уже не спеша. Иногда лейтенант останавливался и прислушивался: вокруг стояла ветреная зимняя тишь. Однажды ветер принес в ложбину далекий гул моторов, но, вслушавшись, Ивановский понял, что это с шоссе. Рощица в отдалении удивительно немо, почти мертво молчала.

Спустя полчаса на их пути неожиданно появился овражек. Весь голый, извилистый, с занесенными снегом склонами, он просматривался во всю длину, и лейтенант не сразу понял, что это тот самый овраг, откуда Волох пошел в снегопад к изгороди. Значит, надо было зайти еще дальше, по кустарнику обогнуть базу на километр глубже. Уж там наверняка можно будет подойти к ней ближе и рассмотреть обстоятельнее.

Он оглянулся на Пивоварова, покрасневшее лицо которого наполовину скрывал мокрый обвисший капюшон: парень из всех сил работал палками, лыжи по-прежнему глубоко зарывались в рыхлом снегу. Преодолевая в себе все возраставшее напряжение от сознания близости цели, Ивановский молча дал знак Пивоварову обождать, а сам обошел овраг и остановился за широким ветвистым кустом орешника.

Голые, окоренные столбы ограды были уже совсем близко. Высокие, в рост человека или больше, они заметно выделялись на зеленовато-снежном фоне молодых сосенок. Но, удивительное дело, за ними пока все еще ничего не было видно. Как он ни напрягал зрение, решительно нигде не мог обнаружить знакомых штабелей из серых и желтых ящиков, которые так явственно стояли в его глазах с того самого момента, как он впервые рассмотрел их в бинокль. Не было видно и брезентов. Это обстоятельство снова недобрым предчувствием беспокоило лейтенанта, и он махнул Пивоварову — присядь, мол, замри. Тот понял сигнал и опустил на лыжи, а лейтенант после минутного колебания вышел из кустарника.

Наверно, он поступил неразумно, командиру группы не следовало бы так рисковать собой, но Ивановский уже был не в состоянии сдержаться. Недоброе предчувствие целиком охватило его, что-то сдавив в горле, он сглотнул комок обиды и, не сводя взгляда с близкой уже опушкой, быстро и напрямую пошел к ней.

Теперь их разделяло всего каких-нибудь триста метров, и уже в самом начале этого пути лейтенант понял, что проволоки на столбах нет. Проволока,

некогда опутывавшая базу, была снята, и ее отсутствие самой большой тревогой, почти испугом, отозвалось в сознании Ивановского. Уже ничего не остерегаясь и не обращая внимания на то, что его легко могли увидеть в открытом поле, он в несколько рывков достиг крайних сосенок рощицы и остановился, пораженный, почти уничтоженный тем, что обнаружил.

Базы не было.

В сосняке на пригорке не было ни часовых, ни собак, ни штабелей из желто-зеленых ящиков — под ногами ровно лежал нетронутый снег да по опушке тянулся ряд белых столбов, единственно напоминавших о базе, — других ее признаков здесь не осталось. Проволоку, видимо, аккуратно сняли со столбов и увезли куда-то, наверное, в другое, более нужное место.

Недоумение в сознании лейтенанта сменилось замешательством, почти растерянностью, он постоял на чистом, свежем после ночной вьюги снегу, потом прошел на лыжах к противоположной стороне, туда, где некогда был въезд. Но и здесь ничего не осталось, лишь в чаще молодых сосенок под снегом угадывалось несколько опустевших ям-капонилов да на краю рощи у столбов высилась куча присыпанных снегом жердей, наверное, бывших подкладками под штабелями. Больше здесь ничего не было. Дорога, отсутствие которой в поле удивило лейтенанта, белой пустой полосой лежала под снегом — по ней давно уже не ездили.

Вдруг совершенно обессилев, Ивановский прислонился плечом к шершавому комлю сосны, раздавленный пустотой и заброшенностью этой теперь никому уже не нужной рощи. Базу переместили. Это было очевидным, но он не мог в это поверить. В его смятенном сознании застряла и не хотела покидать упрямая протестующая мысль, готовая внушить, что это ошибка, нелепое злое недоразумение, и что нужно лишь небольшое усилие, чтобы это понять. Иного он не мог представить себе, потому что он не в состоянии был примириться с тем, что и на этот раз его постигла неудача, что огромные усилия группы затрачены впустую, что напрасно они подвергли себя бессмысленному смертельному риску, потеряли людей и совершенно измотали силы. Они опоздали. Он не сразу поверил в это, но, постояв под сосной и отдышавшись, все-таки понял, что никакого наваждения не было. Была жестокая, злая реальность, еще одна большая беда из всех бед, выпавших за эту войну на его злосчастную долю.

С усилием оторвав плечо от сосны, он стал ровнее на лыжи и слабо оттолкнулся палками. Лыжи скользнули в шуршащем снегу и остановились. Он не знал, куда направиться дальше, впервые отпала надобность куда бы то ни было спешить, и он оперся на палки. На сосновой ветке поблизости появилась вертлявая сорока, все время сердито стрекотавшая на него, вспорхнув над головой, с коротким писком нырнула в чащу синичка.

Ивановский не замечал ничего. Какое-то оцепенение сковало его расслабленные мышцы, он ни о чем не думал, он только смотрел в пустоту рощи, ощущая в себе изнуряющую, охватившую тело усталость, преодолеть которую, казалось, не было никакой возможности.

Так продолжалось немало времени, но роща по-прежнему оставалась пустой и ненужной, и лейтенант в конце концов вынужден был встряхнуться: все-таки его ждали бойцы. Прежде всего Пивоваров. Ивановский оглянулся — боец терпеливо сидел за оврагом, там, где он и оставил его, и лейтенант взмахнул рукой — давай, мол, сюда.

Пока Пивоваров шел по его следу к рощице, Ивановский расстегнул крепление лыж и шагнул в снег. Наверно, тут можно было не опасаться, в пустом сосняке никого не было. Он присел на невысокий, обсыпанный снегом пенек, вытянул в сторону ногу. Надо было решать, что делать дальше. А главное — сообразить, как эту неудачу объяснить бойцам. Он не мог отделаться от чувства какой-то своей вины, как будто именно он придумал всю эту историю с базой и кого-то обманул. Хотя если разобраться, так больше других был обманут он сам. А вернее, всех обманули немцы.

Впрочем, здесь не было обмана, здесь была война, а значит, действовали все ее ухищрения, использовались все возможности — в том числе время, которое в данном случае сработало в пользу немцев, оставив Ивановского с бойцами в безжалостном проигрыше.

Пивоваров тихо подошел по его лыжне и молча остановился напротив. Боец непонимающе оглядывал рощицу, изредка бросая на лейтенанта вопросительные взгляды. Наконец он догадался о чем-то.

— А что... Разве тут была?

— Вот именно — была.

— Холеры! Увезли, что ли?

— Увезли, конечно! — Ивановский вскочил со своего пенька. — Оставили нас с носом!

К удивлению лейтенанта, Пивоваров очень сдержанно отреагировал на его запальчивые, полные горечи слова.

— Видно, опоздали...

— Разумеется. Две недели прошло. Времечко!

— Теперь как же? Придется искать?

— Что искать?

— Ну, базу. Приказ ведь.

Да, базы не было, но приказ уничтожить ее оставался в силе. Давно ли лейтенант сам добивался в штабе этого приказа, который наконец и получил на свою невезучую голову. Что ж, теперь давай выполняй приказ, лейтенант Ивановский, ищи базу, зло подумал про себя лейтенант. Однако тон, которым

Пивоваров упомянул о приказе, все-таки понравился лейтенанту, и в душе он даже обрадовался. В случае чего, наверно, бойцам долго объяснять не придется — если это понимал Пивоваров, то, наверно, поймут и остальные.

Беда, вначале готовая сокрушить лейтенанта, понемногу стала рассеиваться, хотя, разумеется, он понимал, что справиться с ней непросто. По всей видимости, базу переместили на восток, поближе к линии фронта, к Москве, — там ее и следовало искать. Если идти вдоль шоссе, обшаривая каждую рощицу, возможно, и удастся наткнуться. Но тут он вспомнил о тех, за дорогой, о раненом Хакимове и подумал, что, видно, искать ее не придется. Наверно, это потребовало бы массу времени, уйму сил, гораздо больших припасов, чем те, которыми располагали они. Опять же далеко не уйдешь с Хакимовым. Да и мудрено, не зная, отыскать в чащобе лесов замаскированный, тщательно охраняемый объект, ставший теперь для них не более иголки, затерянной в копне сена. Впрочем, вполне может случиться, что ее и вообще уже нет — развезли по частям и расстреляли в боях, все до последней мины.

Тогда что ж — возвращаться с неизрасходованной взрывчаткой, не истратив ни одной гранаты? Опять тащить на себе чертовы бутылки с КС и дрожать, чтобы какой-нибудь фриц, пустив сдуру очередь, ненароком не задел их пулей. И это — потеряв половину группы. С тяжелораненым в волокуше. И в итоге в таком отвратительном виде полного неудачника предстать перед пославшим его генералом. Что лейтенант скажет ему?

— Да-а, положеньице...

Ивановский зачерпнул горсть снега, пожевал и сплюнул. Как всегда после бессонной ночи, во рту долго не проходил противный металлический привкус. Почему-то слегка поташнивало. И даже вроде знобило. Хотя знобило, возможно, от усталости и потери крови.

— У тебя бинт есть? — спросил лейтенант Пивоварова. Тот, сняв варежку, начал ощупывать брючные карманы, а лейтенант поднялся с пенька.

— Давай помоги вот, — сказал он, расстегнув брюки и думая, что теперь уж не имеет большого смысла скрывать нелепое свое ранение.

— Что, ранило?

— Зацепило ночью. Вот черт, все сочтется...

Не удивительно, что Пивоваров испугался: белые кальсоны лейтенанта и его ватные брюки — все было густо залито и перепачкано подсохшей кровью. С внешней стороны бедра из небольшой касательной ранки быстро сползла к колену темно-бурая струйка крови.

— Давай! Обмотай. Да потуже.

— Доктора надо.

— Какой еще доктор! Вот ты и будешь доктором.

Было видать, что Пивоваров встревожился ранением командира больше, чем исчезновением базы. Присев рядом, боец не очень умело обмотал бинтом ногу и крепко связал концы собачьим узлом.

— Не сползла чтоб.

— Ладно. Пока подержится.

Старый окровавленный бинт Ивановский отбросил на снег, подтянул брюки, завязал тесемку перепачканных маскировочных шаровар. Пивоваров пристегивал лыжи. Судя по его вполне спокойному виду, неудача с базой никак не отразилась на его настроении, и лейтенант в душе позавидовал выдержке бойца. Впрочем, бойцу что — с бойца спрос невелик.

— Что вот теперь хлопцам сказать? — озабоченно спросил командир, почувствовав желание посоветоваться, чтоб хоть как-то разрядить свою подавленность.

— А так и сказать. Что ж такого, — просто ответил Пивоваров.

— Что немцы нас провели?

— Ну а что ж! Раз провели, значит, провели.

— Да, видно, ты прав, — подумав, сказал лейтенант. — Надо по правде. Только куда вот дальше?

— А вы посмотрите на карту, — посоветовал боец.

Святая простота. Пивоваров, видимо, полагал, что на военной карте все обозначено. Точно так же считали, бывало, и деревенские тетки, глядя, как командир разворачивает карту, и удивлялись, когда тот спрашивал, как называется эта деревня или сколько километров до города. Видимо, так думал теперь и Пивоваров.

Впрочем, лейтенант нервничал и, кажется, начинал злиться, все-таки болела потревоженная рана и было отвратительно на душе. Он все еще не имел ясного представления о том, что предпринять. Он невидяще глядел вниз, на покатое белое поле с дальним кустарником, пока мысль о бойцах, оставленных за дорогой, не подогнала его, побуждая к действию.

Тогда он оттолкнулся палками и быстро пошел прежней лыжней вниз.

8

Пока пробирались знакомой дорогой в кустарнике, Ивановский, не столько успокоясь, сколько привыкая к своей неудаче, пытался разобраться в себе и решить, как действовать дальше. Конечно, исчезновение базы делало ненужной всю его вылазку, и было до слез обидно за все их напрасно потраченные усилия. Жаль было погибших ребят, умирающего Хакимова, но теперь его все больше начал донимать вопрос, как эту свою неудачу объяснить в штабе. Слишком уж врезались в память лейтенанта их совсем не военные проводы, короткое генеральское напутствие во дворе дома с высокими ставнями... Сынки! Вот тебе и "сынки"! Раззявы, растяпы чертовы,

пока собирались, пока плутали в ночи, пока дрыхли во рву, база бесследно исчезла.

Противное положение, ничего больше не скажешь, думал Ивановский, непрестанно морщась как от зубной боли. Он уже не уклонялся от колючих ветвей кустарника — шел напролом, чуть только сгибаясь, и думал, что лучше бы генерал отругал его в самом начале да отправил на проверку в Дольцево, чем вникать в тот его злосчастный доклад. А уж если было принято такое решение, то лучше бы начштаба жестко приказал ему относительно этой базы или даже пригрозил трибуналом на случай невыполнения приказа, чем так вот: сынки, на вас вся надежда. Что ему делать теперь с этой надеждой? Куда он с ней? Эта безотрадная мысль ворошила, будоражила его сознание, не давала примириться с неудачей и побуждала к какому-то действию. Но что он мог сделать?

Перейти шоссе снова оказалось непросто — еще издали стала видна сплошная лавина запрудивших его войск — шла, наверно, какая-то пехотная часть — колонны устало бредущих солдат, брички, повозки, изредка попадались верховые; во втором ряду ползли машины и тягачи с пушками на прицепе. Густой этот поток безостановочно двигался на восток, к Москве, и у лейтенанта в недобром предчувствии сжалось сердце — опять! Опять, наверно, наступают, возможно, прорвали фронт... Бедная столица, каково ей выстоять против такой силы! Но, наверно, найдется и у нее сила, должна найтись. Иначе зачем тогда столько крови, столько безвременно отданных за нее жизней, столько человеческих мук и страданий — есть же в этом какой-нибудь смысл. Должен ведь быть.

Вот только у него смысла получалось немного — хотя в этой мучительной ночи он отмахал шестьдесят километров, но база оттого не стала ближе, чем была вчера. Может, еще и дальше, потому что вчера у него была полная сил группа, неистраченная решимость, а что осталось сегодня? Даже у него самого, что ни говори, ubyло силы, а главное — вместе с базой пропала прежняя ясность цели — он просто не знал, что предпринять и куда податься.

Впрочем, сначала нужно было пробраться к своим.

И они с Пивоваровым, подхватив в руки лыжи, снова сползли с откоса на дно все того же противотанкового рва. Дальше идти к шоссе стало небезопасно, они затаились за очередным земляным изломом, изредка выглядывая из-за него на открывшийся участок дороги. Часто выглядывать не имело смысла — колонна войск тянулась там без конца и начала — перейти шоссе в такое время нечего было и думать. Значит, опять надо было ждать. И лейтенант принялся покорно коротать время на стуже, почти в отчаянии, в полукилометре от немцев. Теперь недавнего нетерпения не было,

он готов был сидеть здесь до ночи, все равно днем никуда нельзя было сунуться. К тому же он еще не принял ровно никакого решения и не знал, куда направиться — дальше или, может, следовало возвращаться за линию фронта к своим. С Пивоваровым он почти не разговаривал — разговор помешал бы слушать, а слух теперь был их единственной защитой в этом бесконечном, заметенном снегом противотанковом рву. Ивановский время от времени доставал из кармана свои часы, которые лишь свидетельствовали, как безостановочно и быстро шло время. Приближалась студеная зимняя ночь. Невзирая на холод, очень хотелось спать. Наверно, только теперь лейтенант почувствовал, как изнемог он за этот ночной бросок. Напряжение, ни на минуту не оставлявшее его несколько дней подряд, постепенно спадало, незаметно для себя он даже вздремнул, прислонившись спиной к морозному снежному склону, и вдруг зябко прохватился от тихого голоса Пивоварова:

— ...а товарищ лейтенант! Проходят, кажется.

— Да? Проходят?

Пристроившись на откосе и высунув из-за насыпи голову, боец наблюдал за дорогой, голос его прозвучал обнадеживающе, и лейтенант тоже взобрался на откос. Шоссе действительно освобождалось от войск — последние повозки медленно удалялись на восток. Наверно, надо было бежать к пригорку.

Они подхватили лыжи и трусцой побежали по дну рва, ступая в глубокие, еще не заметенные снегом свои следы. Им опять повезло, они вовремя выбрались на укатанную пустую дорогу и, перебежав ее, снова скрылись во рву. Пока бежали, основательно прогрелись, у Иванковского вспотела спина, а у Пивоварова опять густо заплывало потом лицо — со лба по щекам стекали крупные, будто стеариновые, капли. Тяжело дыша, боец размазывал их рукавом маскхалата, но нигде не отстал, не замешкался, и Ивановский впервые почувствовал дружеское расположение к нему. Слабосильный этот боец проявлял, однако, незаурядное усердие, и было бы несправедливым не оценить этого.

За первым изгибом рва, на пригорке, Ивановский замедлил шаг и несколько раз с облегчением выдохнул жарким паром. Кажется, опять пронесло. Откуда-то издали слышалось урчание дизелей, но это его не беспокоило. Его мысли уже устремились вперед, туда, где их возвращения ждали четверо его бойцов, и первой тревогой лейтенанта было: как там Хакимов? Конечно, глупо было бы ждать, что тот очнется и встанет на ноги, но все-таки... А вдруг он скончался? Почему-то подумалось об этом без должного сожаления, скорее напротив — с надеждой. Как бы все было проще, если бы Хакимов умер, как бы тем самым он услужил им. Но, видно, это не в его власти.

Где-то совсем близко, во рву, были его бойцы, и лейтенант прислушался, казалось, он уловил чей-то негромкий голос, как будто Краснокуцкого. Лейтенант вышел из-за очередного излома и неожиданно лицом к лицу встретился с Дюбиным. Очевидно, заслышав его приближение, старшина обернулся и с напряженным вниманием на буром лице взглянул в глаза лейтенанту. Неподалеку у откоса сидели в снегу Лукашов, Краснокуцкий, Судник, а возле волокуши с Хакимовым, горестно сгорбившись, застыл во рву Заяц.

Все повернулись к пришедшим, но никто не сказал ни слова; лейтенант, тоже молча и ни на кого не взглянув, прошел к волокуше.

— Что Хакимов?

— Да все то же. Бредит, — сказал Лукашов.

— Воды давали?

— Как же — воды? В живот ведь.

Да, по-видимому, в живот. Если в живот, то воды нельзя. Но что же тогда можно? Смотреть, как он мучается, и самим тоже мучиться с ним?

Лейтенант взглянул в бледное лицо Хакимова со страдальческим изломом полураскрытых, иссохших губ — боец едва слышно постанывал, не размыкал век, и было неясно, в сознании он или нет.

— Надо бы полушубком укрыть, — сказал издали Дюбин. Ему раздраженно ответил Лукашов:

— Где ты возьмешь полушубок?

— Ну погибнет.

— Давно пришел? — не оборачиваясь от Хакимова, спросил Ивановский.

— Час назад, — сказал Дюбин и кивнул в сторону Зайца. — Вон из-за него лыжу сломал.

— Каким образом?

— Да как лес обходили, — сказал Заяц. — На какую-то кочку попал, хрясь, и готова. Не виноват я...

Наверное, в другой раз было бы нелишне как следует отчитать этого Зайца, дважды подведшего группу, но теперь Ивановский смолчал. То что Дюбин догнал остальных, слегка обрадовало его, хотя радость эта сильно омрачалась общей их неудачей. Лейтенант намеренно старался отмолчаться, не заводить о том разговор, он просто боялся того момента, когда обнаружится, что этот их сумасшедший ночной бросок был ни к чему. Но долго отмалчиваться ему не пришлось, хотя весь его сумрачный вид никак не располагал к разговору, и это видели все. Тем не менее вопрос о базе, видно, томил и других, а рядом во рву сидел, отдыхая, простодушный молодой Пивоваров, к которому теперь и устремились взоры остальных.

Первым не выдержал Лукашов.

— Ну что там? Немцев много? — тихо спросил он за спиной лейтенанта.

— А нету немцев. Склада тоже нет, — легко ответил Пивоваров.

— Как нет?

Лейтенант внутренне сжался.

Он не видел, но почти физически почувствовал, как встревоженно замерли за его спиной лыжники, и, долго не выдержав, сам поднялся на ноги.

— Как нет, лейтенант? Это что — в самом деле? — поднялся вслед за ним Лукашов. Все остальные в крайнем удивлении, почти с испугом смотрели на командира.

— Да, базы нет. Наверно, перебазировалась в другое место.

Стало тихо, никто не сказал ни слова, только Краснокуцкий сквозь зубы сплюнул на снег. Заяц все еще недоумевающе глядел в лицо Ивановскому.

— Называется, городили огород! Плели лапти, — бросил в сердцах Лукашов.

— Что поделаешь! — вздохнул Краснокуцкий. — На войне все случается.

— А может, ее там и не было? Может, она где в другом месте? — недобро засомневался Лукашов, по-прежнему стоя обращаясь к лейтенанту.

— Там была, — просто ответил ему Пивоваров. — Столбы вон остались. Без проволоки только.

Лейтенант отошел от волокуши, скользнув взглядом по Суднику, который с бруствера напряженно смотрел в ров. Командир старался не видеть Лукашова, но он чувствовал, как недобрая, злая сила распирала старшего сержанта, и тот готов был начинать ссору.

— А что, и следов никуда нет? — со спокойной деловитостью спросил Дюбин.

— Ничего нет, — сказал Ивановский.

— Что же получается... Как же так? — не унимался Лукашов. — Кто-то виноват, значит.

Лейтенант резко обернулся к нему.

— Это в чем виноват?

— А в том, что понапрасну этак выкладывались! Да и люди погибли...

— Так вы что предлагаете? — осадил его лейтенант резким вопросом.

Он не мог начинать с ним спор, так как знал, что в этом их напряжении недалеко до ссоры, к тому же он не мог не чувствовать, что в значительной степени старший сержант прав. Но зачем теперь много говорить об этом, без того было тошно, каждый переживал эту неудачу. К тому же в таких случаях в армии было непозволительно выражать свое недовольство или возмущение — подобное всегда пресекалось с наибольшей строгостью.

Лукашов же загорячился, глаза его зло блестели, одутловатое в щетине лицо стало недобрым.

— Что мне предлагать? Я говорю...

— Помолчите лучше!

Старший сержант умолк и отошел в сторону, а лейтенант опять сел в снег. Разговор был не из приятных, но что-то томившее его с утра разом спало, как-то само собой все разрешилось, хотя, может, и не самым наилучшим образом. К нему больше не обращались, наверно, видели, что теперь он знает не больше остальных. Бойцы молча ждали новой команды или решения, как быть дальше, и он, поняв это, достал из-за пазухи карту. Он попытался все же что-то найти на ней, что-то решить про себя, пытался понять, куда с наибольшей вероятностью могла переместиться эта проклятая база. Но сколько он ни вглядывался в карту, та не ответила ни на один из его вопросов, красная линия шоссе скоро убегала за ее край, соседнего же листа у него не было. И здесь, а наверно, и дальше удобных для складов мест была пропасть: в лесах, перелесках, овражках. Где ее искать?

Он так сидел долго и молчал, не убирая с колен разложенной карты, по которой снежной крупой шуршал ветер. Он уже ничего не рассматривал на ней — просто ушел от ненужных теперь разговоров с бойцами, их вопрошающих взглядов. Он чувствовал, что незамедлительно нужно что-то решить, как только стемнеет, отсюда надо убираться. Только куда?

— Подмените Судника. Небось заоченел на ветру, — ни к кому не обращаясь, сказал лейтенант, когда почувствовал, что недоброе молчание в группе слишком затянулось. — Заяц!

Заяц сразу же встал и начал взбираться на бруствер, а Судник, обрушивая снег, на задку сполз в ров. Поднятое им снежное облако обдало Дюбина, который заворошился и встал на ноги.

— Так что же дальше, командир? — спросил он.

— Что именно? — сделал вид, будто не понял, Ивановский, хотя он отлично понимал, что беспокоит старшину.

— Куда дальше пойдём?

— Вы пойдёте назад, — просто решил командир.

— Как? Я один?

— Вы и остальные. Попытайтесь спасти Хакимова.

— А вы?

— Я? Я попробую отыскать базу.

— Один?

Этот вопрос старшины Ивановский оставил без скорого ответа. Он не знал, пойдет ли один или с кем еще, но что надо продолжить поиски, это он вдруг понял точно. Он не мог возвратиться ни с чем, такое возвращение было выше его возможностей.

— Нет, не один. Кто-то еще пойдет.

— В самом деле? А может, я, лейтенант? — сказал Дюбин, как бы испытывая себя своею решимостью. Но лейтенант молчал.

Ивановский напряженно додумывал то, чего не додумал раньше. Конечно, выход для него возможен только такой, он не мог рисковать всеми, его люди сделали все, что должны были сделать, и не их вина, что цель оказалась недостигнутой. Далее начинался особый счет его командирской чести, почти личный его поединок с немецкой уловкой, и бойцы к этому поединку не имели отношения. Тем более что шансы на успех пока были неясны. Отныне он станет действовать на свой страх и риск, остальные должны возвратиться за линию фронта.

Лейтенант поднял от карты лицо и прямо посмотрел на Дюбина. Иссеченное преждевременными морщинами, темное от стужи лицо старшины было спокойно, взгляд из-под маленького козырька краснозвездной буденовки спокойно-выжидателен и ненавязчив, он как бы говорил сейчас: возьмешь — хорошо, а нет — напрашиваться не стану. И лейтенанту почти захотелось взять с собой старшину, наверно, лучшего напарника здесь не сыскать. Но тогда старшим в отходящей группе он должен назначить Лукашова, а он почему-то не хотел этого. Лукашова он уже немного узнал за время этого их пути сюда, и в душе командира появилось устойчивое предубеждение против него.

Значит, с группой должен остаться Дюбин.

Их очень немного возвращалось назад, на их попечении был трудный Хакимов, обратный их путь вряд ли окажется легче пути сюда, а лейтенанту очень хотелось, чтобы они по возможности благополучно дошли до своих. В этом смысле разумнее всего было положиться на опытного, уравновешенного старшину Дюбина.

— Нет, старшина, — сказал лейтенант после продолжительной паузы. — Поведете остальных. Со мной пойдет... Пивоваров.

Все с некоторым удивлением повернули головы в сторону прилегшего на бок Пивоварова, который при этих словах лейтенанта вроде засмутился и сел ровно.

— Так, Пивоваров?

— Ну, — просто ответил тот, вспыхнув и сморгнув белесыми ресницами.

— Ну и лады, — сказал лейтенант, довольный тем, что все так скоро уладилось.

Потом он не раз будет спрашивать себя, почему его такой важный выбор так неожиданно для него самого, почти бессознательно пал на этого молодого бойца? Почему бы в помощники себе не выбрать сапера Судника или рослого сильного Краснокуцкого? Неужели безропотная покорность слабосильного паренька единственно определила его решение? Или тут повлиял на него их

сегодняшний совместный бросок через шоссе, где они вдвоем пережили опасность и первое общее для всех разочарование.

Тем не менее выбор был сделан, Пивоваров как-то враз подобрался, помрачнел или посерьезнел и тихо сидел в истоптанном снежном сугробе.

— Что ж, ваше дело, — сказал Дюбин. — Как там передать, в штабе?

— Я напишу, — подумав, сказал Ивановский.

Бумаги, однако, у него не нашлось, был только трофейный карандаш с выдвижным стержнем, пришлось старшине вырвать листок из замусоленного своего блокнота, на котором лейтенант, недолго подумав, написал:

"Объекта на месте не оказалось. Группа понесла потери, отправляю ее обратно. Сам с бойцом продолжаю поиски. Через двое суток предполагаю вернуться. Ивановский. 29.11.41 г."

— Вот. Передайте начальнику штаба.

— Это самое, гранаты возьмете?

— Да. Гранату и пару бутылок. Пивоваров, возьмите у Судника бутылки. Гранату давайте мне.

Старшина снял с пояса противотанковую гранату, которую лейтенант тут же подвязал тесемкой к ремню.

— И подрубить бы запастись надо?

— Подрубить тоже. Дайте сухарей. Консервов пару банок. Сами-то уж в АХЧ завтракать будете.

— Дал бы бог, — вздохнул Краснокуцкий.

— Только смотрите при переходе. Как бы опять не напоролись. Не жалейте животов — головы целее будут.

— Это понятно, — тихо согласился Дюбин.

— Ну, вроде темнеет, можете двигать. А мы еще посидим тут. Как там на шоссе, Заяц?

— Какая-то с фарами катит. Одна или больше — хорошо не видеть.

Старшина завязал вещевой мешок, Пивоваров складывал в свой сухари и две большие, завернутые в портянки бутылки с КС. Лукашов и Краснокуцкий, не ожидая команды, подступили к обсыпанному снежной пылью Хакимову.

— Смотрите Хакимова, — сказал лейтенант Дюбину. — Может, еще дотянет до утра.

— О чем разговор!..

— Тогда все. Топайте!

— Что ж, счастливо, лейтенант, — обернулся Дюбин и тут же скомандовал бойцам: — А ну взяли! За лыжи, за лыжи берите. Поднимайте. Выше, еще выше. Вот так...

Они подняли Хакимова и с трудом выбрались из рва. На бруствере Дюбин еще оглянулся — прощание вышло второпях, скомканным, и Ивановский махнул рукой:

— Счастливо.

Когда они скрылись там и последним исчез за бруствером высокий капюшон старшины. Ивановский сел в снег. Он почувствовал особенное удовлетворение оттого, что Дюбин не пропал окончательно, догнал группу и теперь с теми, кто возвращался, будет толковый и человечный командир, который должен их привести к своим. А они здесь как-нибудь справятся вдвоем с Пивоваровым, который все еще стоял во рву, глядя поверх высокого бруствера. Чтобы разрушить неловкость, вызванную этим прощанием, лейтенант сказал с несвойственной для него словоохотливостью:

— Садись, Пивоварчик, отдохнем. Тебя как звать?

— Петр.

— Петька, значит. А меня Игорь. Ну что ж, может, нам еще повезет? Как думаешь?

— Может, и повезет, — неопределенно сказал Пивоваров, потирая ложу винтовки, и вздохнул тихонько и прерывисто.

— Ладно, пока есть время, давай подрубаем, меньше нести будет, — сказал Ивановский, и Пивоваров, присев, начал развязывать вещевой мешок.

9

Спустя полчаса, когда хорошо притемнело, они выбрались из своего снежного укрытия. Оба продрогли, сильно озябли ноги, хотелось сразу пуститься на лыжах, чтобы согреться. Но прежде надо было оглядеться. К ночи движение на шоссе поубавилось, шли одиночные машины, у некоторых слабо светились подфарники. Вокруг было тихо и пусто; снежные дали с перелесками затянуло вечернею мглой, облачное беззвездное небо низко нависло над снежным ночным пространством. Ивановский решил идти на восток вдоль шоссе, не выпуская его из виду и следя за движением на нем; он думал, что, как и в тот раз, осенью, базу должны выдать машины.

Они скоро спустились со своего пригорка, по рыхлому снегу перешли ложину. Двадцати минут ходьбы вполне хватило на то, чтобы согреться и даже слегка устать. Что ни говори, а сказывалась прошедшая ночь. К тому же в отличие от вчерашнего Ивановский сразу почувствовал на ходу, что раненая нога стала болеть сильнее, невольно он двигал ею осторожнее, больше нажимая на левую. Правда, он все же старался привыкнуть к этой своей боли, думал, как-нибудь обойдется, разойдется, авось нога не подведет. Но, поднявшись на очередной пригорок, лейтенант почувствовал, что надо отдохнуть. Он слегка расслабил ногу, перенес тяжесть тела на здоровую, и, чтобы подошедший Пивоваров ничего не заподозрил, сделал вид, что

осматривается, хотя осматриваться не было надобности. Шоссе находилось рядом, оно лежало пустое, впереди мало что было видно: сильный восточный ветер упруго дул в лицо, от него слезились глаза.

— Ну как, Пивоварчик? — нарочито шутливым голосом спросил лейтенант.

— Ничего.

— Согрелся?

— О, упарился даже.

— Ну давай дальше.

То и дело поглядывая по сторонам, они прошли еще около часа, обошли край рощи, сосняк, какие-то постройки у дороги — после вчерашнего обстрела с хутора Ивановский старался держаться от жилья подальше. Шоссе почти всюду шло прямо, без поворотов, это облегчало ориентировку, и лейтенант только изредка поглядывал на компас — проверял, выдерживается ли направление.

Настроение его вроде бы даже улучшилось, Пивоваров шел по пятам, не отставая ни на один шаг, и лейтенант, остановившись в очередной раз, спросил с некоторой живостью в голосе:

— Пивоварчик, что ты в жизни видал?

— Я?

— Да, ты. В жизни, говорю, что видал?

Пивоваров пожал плечами.

— Ничего.

— Книжек ты хоть почитал?

— Книжек почитал, — не сразу, словно бы вспоминая, ответил боец. — Весь Жюль Верн, Конан Дойл, Вальтер Скотт, Марк Твен...

— А Гайдар?

— И Гайдар. И еще Дюма все, что достал, прочитал.

— Ого! — удивился лейтенант и даже с некоторым уважением поглядел на Пивоварова. — И когда ты успел столько?

— А я заболел в шестом классе и полгода не учился. Ну и читал. Все перечитал, что в библиотеке нашлось. Мне из библиотеки носили.

Да, наверно, это было здорово — проболеть полгода и прочитать всю библиотеку. Сколько Ивановский мечтал заболеть в детстве, да и в училище, но больше трех дней ему проболеть не удавалось. Здоровье у него всегда было хорошее, и читал он немного, хотя хорошие книги всегда вызывали в нем прямо-таки душевный трепет. И лучше Гайдара ему в своей жизни ничего читать не пришлось. И то в детстве. Потом стало не до литературы — пошли книги другого характера.

Вокруг по-прежнему было тихо, в общем, спокойно, как бывает спокойно лишь в значительном удалении от передовой. Ивановский шел теперь без вчерашней горячки, преодолевая заметную тяжесть в ногах и во всем теле и непроходящую, связывающую каждое движение боль в ране. Правда, боль пока была терпимой. Чтобы не сосредоточиваться на ней, лейтенант старался отвлечься чем-то другим, посторонним. То и дело его мысли уносились к бойцам, что теперь под началом Дюбина возвращались к своим. Наверно, уже идут вдоль реки, поймой. Хорошо, если не занесло лыжню, она поможет сориентироваться. Впрочем, Дюбин, наверно, и без того запомнил дорогу, а в случае чего — выручит карта. Карта на войне — ценность, жаль только, что не всегда хватает этих самых карт. Все время думалось, как там Хакимов? Конечно, намучаются с ним, не дай бог. Особенно при переходе линии фронта. Теперь с ним не вскочишь, не рванешь на лыжах, надо все ползком, попластунски. Хоть бы прошли. Но Дюбин, наверно, сумеет, должен пройти. Дюбин же и объяснит начальнику штаба их неудачу, как-то оправдается за группу и за ее командира. Хотя при чем командир? Кто мог подумать, что за каких-нибудь десять дней все так изменится и немцы переместят базу?

Лично себя Ивановский не считал виноватым ни в чем, кажется, он сделал все, что было в его возможностях. Тем не менее какой-то поганый червячок виноватости все же шевелился в его душе. Похоже, все-таки лейтенант недосмотрел в чем-то и в итоге вот не оправдал доверия. Именно это неоправданное доверие смущало его больше всего. Теперь лейтенант прямо съеживался при мысли, что из этой его затеи вдруг ничего не выйдет.

Ивановский очень хорошо знал, что значит так вот, за здорово живешь, испохабить хорошее мнение о себе. Однажды уже случилось в его жизни, что, злоупотребив доверием, он так и не смог вернуть доброе расположение к себе человека, который был ему дорог. И никакое его раскаяние ровно ничего не значило.

Незадолго перед тем Игорю исполнилось четырнадцать лет, и он пятый год жил в Кубличах — небольшом тихом местечке у самой польской границы, где в погранкомендатуре служил ветврачом его отец. Развлечений в местечке было немного, Игорь ходил в школу, дружил с ребятами, большую часть времени, однако, пропадая на комендантской конюшне. Лошади были его многолетней, может, самой большой привязанностью, всепоглощающим увлечением его отрочества. Сколько он перечистил их, перекупал, на скольких он переездил верхом — в седле и без седел. Года три подряд он не замечал ничего вокруг, кроме своих лошадей, каждый день после уроков бежал на конюшню и уходил только для сна, чтобы на завтра к приходу дежурного снова быть там. Пограничники иногда шутили, что Игорь — бессменный

дневальный по конюшне, и он бы с удовольствием стал таковым, если бы не уроки в школе.

На конюшне всегда была масса интересного, начиная от кормежки и водопоя, чистки скребком и щеткой и кончая торжественным ритуалом вывода с построением, суетой красноармейцев, придирчивостью большого начальства, носовыми платками проверявшего чистоту конских боков. Было что-то безмерно увлекательное в выездке, верховой езде, занятиях по вольтижировке, и, конечно же, совершенно захватывала его рубка лозы на плацу за конюшней, когда вдоль ряда стояков с прутьями во весь опор скакали кавалеристы, направо и налево срубая клинками кончики лозовых прутьев. А чего стоила джигитовка самого лихого наездника в отряде знаменитого лейтенанта Хакасова!

Но выводку, рубку, джигитовку он наблюдал со стороны, сам по малости лет в них не участвуя, — его не пускали в строй и даже ни разу не позволили проехаться с шашкой. Другое дело — купание. На луговом берегу озера, у песчаной отмели, стояла старая изгрызенная коновязь, и почти каждый горячий полдень к ней приводили потных, истомленных, рвущихся в воду лошадей. Начиналось купание, и тут уж Игорь Ивановский отводил душу, плескаясь до тех пор, пока последняя лошадь не выходила из озера.

Обычно он приезжал на Милке — молодой рыжей кобыле с тонконогим играстым жеребенком. Милка была закреплена за командиром отделения Митяевым, с которым у Игоря сложились какие-то совершенно особые, может, даже необычные между пацаном и взрослым человеком отношения. Этот Митяев хотя и служил срочную, но в отличие от других двадцатилетних бойцов-пограничников казался Игорю почти стариком, с изрезанным морщинами лицом, тяжелой походкой и медлительностью пожилого деревенского дядьки. Родом Митяев был из Сибири, дома у него остались взрослые дочери, и он давным-давно должен был бы призваться да и отслужить свою службу, если бы не какая-то путаница в документах, утверждавших, что Митяеву всего двадцать два года. Как это получилось, не мог объяснить и сам Митяев, который только ругал какого-то пьяного дьячка в церкви, по чьей милости ему приходилось служить с теми, кто годился ему в зятья.

Лошади для Митяева не были в новинку, наверно, за свой век он перевидел их множество и охотно доверял свою Милку расторопному сыну ветеринара. Игорь кормил ее, чистил, мыл и выгуливал, в то время как Митяев учил да похваливал, а то и просто, потягивая свою сигарку, отдыхал в курилке. Случалось, что он заступался за своего помощника перед его отцом, когда тот пробирал сына за длительное отсутствие, из-за чего, разумеется, не могли не страдать уроки. Отношения у него с Митяевым, в общем, сложились

такие, что лучших не пожелаешь, и отец не раз говорил, что этот сибиряк, наверно, заменит ему родителя. Игорь не возражал, он считал, что Митяев в самом деле лучше отца, не жившего с матерью, любившего выпить и вовсе не баловавшего вниманием своего самопаса-сына.

Однажды обычная возня с лошадьми на озере была нарушена небольшим событием — в купальню привезли лодку. Привез ее на пароконной повозке старшина Белуш, он же опробовал ее на воде и сказал, что лодка принадлежит самому коменданту Зарубину и что никто не смеет притронуться к ней пальцем. Чтобы гарантировать ее сохранность, Белуш пристроил цепь и примкнул лодку к стояку коновязи. Неизвестно по какой причине лодка почти все лето пролежала на берегу. Зарубин ею не пользовался, и местечковые мальчишки сгорали от такого понятного в их возрасте желания поплавать на ней по озеру.

Как-то под вечер, когда лошади были уже выкупаны и стояли на привязи, а дневальные шли в комендатуру за обедом, Игорь взял прихваченные из дому удочки и пошел на протоку половить окуней. Клевало, однако, плохо, и он уже собрался было перейти на другое место, как из ольшаника вылезли Колька Боровский и Яша Финкель, школьные его приятели. После недолгого разговора они дали понять, что есть возможность "стырить" комендантову лодку и сплавить к другому берегу, где синел большой хвойный лес и где никто из них еще не был. Игорю эта затея показалась весьма заманчивой, кого из местечковых ребят не привлекал тот берег, но добраться к нему было трудно — на пути лежало топкое с провалами болото в устье протоки, в которой, говорили, жил водяной. Было соблазнительно завладеть лодкой, но у коновязи оставался дежурный Митяев, отвечавший за эту лодку перед самим капитаном Зарубиным. Когда Игорь сказал об этом ребятам, те заушмылялись. Оказывается, они уже высмотрели, что Митяев спал под кустом на попоне, а что касается замка, то Колька тут же выложил перед Игорем большой ключ от отцовского дровяного сарая, запиравшегося в точности таким же замком, как и зарубинская лодка. Игорю ничего более не оставалось, как взять этот ключ и легко и просто отомкнуть замок лодки.

Весел у них не было, нашелся лишь длинный еловый шест, они тихонько стащили лодку на отмель и попрыгали в нее. Сначала отпихивались шестом, потом начали грести руками, кое-как лодка выплыла на середину, и тут обнаружилось, что она разохлась на берегу сверх меры, и сквозь ее борта ручьями полилась вода. Выливать воду было нечем, они попытались выплескивать ее горстями, но лодка все больше уходила кормой под воду, и вскоре ребятам пришлось в спешном порядке покинуть судно. Вдоволь нахлебавшись теплой воды, они кое-как добрались до берега. Лодка же медленно затонула.

Митяев у коновязи спал так крепко, что ничего не услышал, а ребята высушились в укромном местечке и к вечеру разошлись по домам. На завтра, разумеется, начались поиски пропажи, оказалось, кто-то видел возле купальни местечкового дебошира Темкина, на которого тут же и составили протокол. Пытались допросить также и Игоря, бывшего с утра у коновязи, но дежурный Митяев не мог себе даже представить своего любимца в роли похитителя и поручился за него. И когда день спустя Игорь скрепя сердце все же признался Митяеву в своей виновности, тот сперва ему не поверил. Пришлось указать место, где неглубоко на илистом дне затонула лодка, которую скоро подняли и приволокли к берегу. Завидев ее, Митяев лишь сплюнул в песок и отошел в сторону, даже не взглянув на обожаемого своего помощника. Их двухлетняя дружба на том и окончилась. До самой демобилизации Митяев не сказал парню ни единого слова, будто не замечал его вовсе, не отвечал на его приветствия, при встрече проходил мимо, даже не удостоивая его взглядом. Игорь не обижался, знал: это презрение было вполне им заслужено.

На их пути скоро оказался редкий молодой соснячок-посадка, они быстро прошли меж его ровных рядов и вдруг оба враз замерли. На самой опушке, очевидно, была дорога, по которой теперь куда-то в сторону, медленно, вихляя по ухабам, ползли в темноте машины. Сначала Ивановскому показалось, что он сбился с пути и вышел на шоссе, но вскоре он понял, что это не шоссе вовсе, а, наверно, какой-нибудь съезд с него в сторону. Но почему на этом съезде машины?

Затаясь, он недолго постоял на опушке. Машины проходили совсем близко, передняя шла с включенными фарами, расхлябанно вихляя на неровностях крытым высоким кузовом. Следовавшие за ней три другие машины тоже были высокие и крытые: что они везли, невозможно было понять. Но то, что машины уходили в сторону от основной магистрали, наводило лейтенанта на некоторые обнадеживающие размышления. Не приближаясь к дороге, он свернул вдоль опушки следом за ними.

Теперь он шел совсем медленно, часто останавливался и вслушивался. Далекий утробный гул дизелей какое-то время еще был слышен, потом, заглушенный порывом ветра, как-то сразу затих. Ивановский поправил на себе то и дело сползавший ремень с тяжелой гранатой, оглянулся на Пивоварова. Тот был рядом, притихнув в предчувствии опасности и едва справляясь со своим дыханием.

— А ну посмотрим, что там. Ты приотстань чуток...

Пивоваров кивнул, поправляя за спиной винтовку, ремень от которой наискось перерезал его белую в маскхалате узкую грудь. Конечно, жидковат

телом оказался его помощник, но тут и дюжий бы, наверное, сдал. Зашуршав по снегу лыжами, Ивановский пошел по опушке.

Рощица скоро кончилась, впереди был ручей или речка с кустарником по берегам, Ивановский с заметным усилием уставшего человека перебрался через нее и еще прошел полем. Неожиданно для себя он увидел дорогу — две колеи, глубоко прорезанные в снегу автомобильными скатами. Чтобы не переходить ее и не потерять из виду, он вернулся назад и на некотором расстоянии пошел полем.

Деревня появилась неожиданно скоро — без единого звука, без проблеска света в серых сумерках вдруг выросла близкая крыша сарая, за ней следующая, и лейтенант тут же мысленно выругал себя за неосторожность — от деревни надо было держаться подальше. Он хотел было уже свернуть в сторону, как перед его взглядом за углом сарая промелькнуло характерное очертание гусеничного вездехода. Тут же было что-то и еще — непонятно громоздкое в сумраке, гибкий и тонкий шест от него торчал в небо, и, взглядевшись, лейтенант понял, что это антенна. Конечно, в деревне не могло быть никакой базы, зато вполне могло расположиться на ночлег какое-нибудь тыловое или маршевое подразделение немцев.

— Видал? — тихо спросил Ивановский напарника.

— Ну.

— Что это, как думаешь?

Пивоваров только пожал плечами, он не знал, так же как не знал того лейтенанта, который теперь обращался к нему как к равному. Будь у него хоть пять или десять бойцов, Ивановский никогда бы не позволил себе такого почти панибратства, но теперь этот Пивоваров был для него более чем боец. Он был первым его помощником, его заместителем и главным его советчиком — другого здесь взять было неоткуда.

Выбросив в сторону лыжу, Ивановский развернулся в поле, Пивоваров повернул тоже, они круто взяли в обход. Но, минутой пройдя по снежному полю, лейтенант остановился при мысли: а вдруг это какой-нибудь крупный немецкий штаб? Штаб им пригодился бы даже более, чем та злосчастная база, которую неизвестно где было искать в ночи.

Минуту он постоял на ветру в раздумье, соображая, что предпринять. Рядом ждал Пивоваров. Боец понимал, видимо, что командир решал что-то важное для обоих, и ждал этого решения со спокойной солдатской выдержкой. А Ивановский думал, что, конечно, было бы благоразумнее обойти это осиное гнездо, но, может, сначала стоило подкрасться поближе, разведать, — авось подвернется что-либо сподручное.

Пока они стояли в нерешительности, где-то в селе неярко вспыхнуло пятнышко света, что-то осветило на снегу и тут же потухло. Этот случайный

проблеск ровно ничего не объяснил, но он указал в темноте направление, определенное место. Очевидно, там была улица, и лейтенант вдруг решил все-таки попытаться подойти к ней возможно ближе, чтобы понять, что там происходит.

— Так. Пивоварчик, приотстань. И потихоньку — за мной.

Пивоваров согласно кивнул, Ивановский, решительно оттолкнувшись палками, пошел к деревне.

Сначала на его пути появилась старая поломанная изгородь, через пролом в которой он проскользнул в огород и увидел в ночных сумерках какие-то жиденькие деревца с кустарником — похоже, на меже двух огородов. Он свернул к этим деревцам и под их прикрытием тихо пошел по неглубокому снегу в сторону мягко темневших силуэтов построек. Вокруг по-прежнему было тихо, холодновато, порывами дул ветер, в воздухе косо неслись негустые снежинки. Никаких определенных звуков сюда не долетало, но все же по каким-то необъяснимым приметам Ивановский угадывал присутствие в деревне посторонних, которыми теперь могли быть только немцы. Чувствуя, что вот-вот что-то ему откроется, он осторожно приближался к постройкам.

Совсем уже близко высилась заснеженная крыша сарая, возле кривобоко стоял подпертый жердями стожок. Деревца межевой посадки тут разом оканчивались, крайней в ряду была раскидистая грушка с толстоватым, заметным среди тонконогого вишняка стволом. Издали приметив ее, Ивановский подумал, что за этим грушевым комельком, по-видимому, надо присесть, подождать. Но он еще не дошел до грушки, как совершенно неведомо откуда подле стожка появилась какая-то фигура в распахнутой длинной одежде, и он, вздрогнув, смекнул: немец! Немец от неожиданности обмер, пристально вглядевшись в него, но тут же, видно, успокаиваясь, прокартавил издали:

— Es schien em Russ... [Мне показалось — русский... (нем.)]

Ивановский ничего не понял и, наверно, чересчур резко дернул рукоятку висевшего на груди автомата. Затвор громко щелкнул в тишине. Немец, поняв свою оплошность, сдавленно, почти в ужасе вскрикнул и стремглав бросился по снегу от стожка — наискосок через огород, к соседнему дому. На секунду растерявшись, Ивановский присел и, кажется, очень вовремя: тут же от построек бахнул одиночный выстрел, пуля звучно щелкнула в намерзших ветвях кустарника. Но он уже был наготове и с колена коротко тыркнул по серому углу за изгородью, потом другой очередью — ниже, по беглецу, который уже вот-вот готов был скрыться в тени постройки. Последние его пули были, однако, излишними — немец сразу ткнулся головой в снег и застыл там; Ивановский, тут же выбросив левую лыжу на крутой разворот, схватил одну палку. Вторую впопыхах он уронил в снег и только нагнулся за

ней, как в сумерках двора опять сверкнула красноватая вспышка, и он тихонько ахнул от глубокого, острого удара в спину. Сразу поняв, что ранен, вгорячах бешено рванулся на лыжах с этого огорода, туда, где ждал его Пивоваров.

Видно, замешкавшись, немцы подарили ему четверть минуты дорогого для него времени. Он уже проскочил половину межевой посадки, а они только начали выбегать откуда-то из дворов на огород. Кто-то закричал там повелительно и строго, и вот человек пять их пустились вдогонку. Он ясно увидел их, оглянувшись, и на секунду замешкался, соображая, остановиться ему, чтобы огнем из ППД умерить их прыть, или скорее ускользнуть в темноту. Но у него уже не получалось скорее, он быстро слабел от боли, едва управляясь с лыжами.

Сзади несколько раз выстрелили, часто и не очень звучно, похоже, из пистолетов, но он все же оторвался от них, теперь попасть в него было трудно. И все же одна пуля ударила куда-то под самые ноги. Он, не оглядываясь, пригнулся пониже и изо всех быстро убывающих сил старался побыстрее вырваться из этого огорода. Но вот и еще одна пуля протянула свою визгливую струну над самой его головой, он вскинул автомат, чтобы дать очередь, как откуда-то спереди сильно и звучно бахнуло раз и второй. Он понял радостно, почти спасительно: это Пивоваров — выстрел своей трехлинейки он бы узнал где хочешь. Из сумерек еще и еще, почти навстречу ему один за другим сверкнули три частых удара, пули прошли совсем рядом, но он был уверен: своя пуля его не зацепит.

— Скорее, товарищ лейтенант!

Ивановский упал, немного не дойдя до изгороди, но не от боли в груди, которая быстро завладевала всей его правой половиной тела, а оттого, что не хватало дыхания. Он задохнулся. Но он знал, что Пивоваров уже где-то рядом и не оставит его.

Сплюнув снег, он тут же попытался подняться, но ноги его странно отяжелели, к тому же мешали скрестившиеся при падении лыжи. Одна из них вовсе соскочила с ноги, тогда он дернул другой и тоже высвободил ее из крепления. Сзади еще хлопнуло несколько выстрелов, но, похоже, его не преследовали, их задержал Пивоваров, который и выбежал к нему из сумерек.

— Товарищ лейтенант!..

— Тихо! Дай руку.

— Я уложил там одного! Пусть теперь сунутся...

Кажется, он не очень и удивился его ранению, быстро помог подняться, но, видно, бойца занимало другое, и он даже не пытался скрыть это. Похоже, он и не догадывался, как просто теперь их могли уложить тут обоих.

Лейтенант хотел было собрать лыжи, но опять голова у него закружилась, и он ткнулся плечом в мягкий морозный снег. Пивоваров, наверно, только теперь поняв состояние командира и скинув со своих ног лыжи, опять бросился к нему на помощь.

— Что, вас здорово, а? Товарищ лейтенант?

— Ничего, ничего, — выдавил из себя Ивановским. — Поддержи...

Надо было как можно скорее уходить отсюда, с минуты на минуту их могли настичь немцы. Пивоваров примолк вдруг и, поддерживая отяжелевшее тело лейтенанта, повел его куда-то в темень, подальше от деревни, в поле. Ивановский послушно тащился по снегу, заплетаясь ногами, в голове его хмельно кружилось, начинало тошнить. Два раза он сплюнул на снег что-то темное, обильное, не сразу поняв, что это кровь. "Хорошо получил!.. Хорошо получил!" — думал он почти со злорадством, как о ком-то другом, не о себе.

Они не оглядывались, но и без того было слышно, что сзади не унимался переполох, раздавались крики. Правда, выстрелов не было, но все еще доносившиеся встревоженные голоса подгоняли их пуще стрельбы. Очевидно, немцы высыпали на околицу или, может, шли следом. У Ивановского уже все было мокро от пота и крови, на боку через бязь маскхалата проступило темное большое пятно, он трудно, загнанно дышал, то и дело сплевывая на снег кровавые сгустки. Несколько раз оба они падали, но Пивоваров, наскоро отдышавшись, вскакивал, хватал лейтенанта под мышки, и они снова шатко и неровно брели в серые морозные сумерки, петляя по зимнему, продутому всеми ветрами полю.

Когда уже совсем обессилели оба, лейтенант, выплюнув кровавую пену, промычал "стой" и упал боком на снег. Рядом упал Пивоваров. Уже нигде ничего не было слышно и ничего не видать, даже не понять было, в какой стороне деревня. Думалось, они ушли на край света, где нет ни своих, ни немцев, и Пивоваров, отдышавшись, сел на снегу.

— Сейчас перевяжем, — сказал он, зашарив по карманам в поисках бинта. — Куда вас?

— В грудь. Под рукой вот...

— Ничего, ничего! Сейчас. Перевяжу. А я тому как дал, так сразу... Другой, гляжу, драла... Целую обойму выпустил.

Ивановский откинулся на спину, расстегнул ремень, телогрейку. Пивоваров холодными руками зашарил по телу. Кровь, обильно пропитавшая одежду, начала уже остывать и жгла на морозе как лед. Впрочем, жегся, возможно, набившийся всюду снег, лейтенант то и дело содрогался в ознобе, но терпел молча. Боец туго обмотал его грудь двумя или тремя пакетами, накрепко связал их концы.

— Больно очень?

— Да уж больно, — с раздражением ответил Ивановский. — Все, застегни ремень.

Пивоваров помог командиру привести себя в порядок, застегнул на телогрейке ремень, одернул куртку маскхалата. Постепенно лейтенант начал согреваться, хотя тело его все еще бил мелкий нервный озноб, от которого спирало дыхание.

— Не надо было туда идти, — сказал боец, вытирая о шаровары испачканные кровью руки.

— Да? Что ж ты не сказал раньше?

— Так я не знал, — пожал одним плечом Пивоваров.

— А я знал? — раздраженно бросил лейтенант. Он понимал, что становится злым и несправедливым и что Пивоваров здесь ни при чем, что во всем виноват он сам. Но именно сознание этой виновности больше всего и злило Ивановского. Да, теперь он влип, похоже, погубил себя и этого бойца тоже, завалил все задание с базой, ничего не добился в деревне. Но поступить иначе — обойти стороной базу, штаб, эту деревню и тем сохранить себя он не мог. На такой войне это было бы кошунством.

— Диски давайте сюда. И автомат тоже. Я понесу, — тихо сказал Пивоваров, и Ивановский молча согласился, теперь, конечно, много унести он не мог. Собрал в себе жалкие остатки сил, он лишь повернулся, чтобы сесть на снегу.

— Что ж, надо уходить.

— Ага. Давайте вон туда. Как и шли, — оживился Пивоваров. — Ей-богу, тут где-то деревня.

— Деревня?

— Ну. В какую-нибудь деревню надо. Без немцев чтоб.

Пожалуй, Пивоваров прав, подумал Ивановский. Теперь им остается только забиться в какую-нибудь деревню, к своим людям, больше деваться некуда. Он просто не сразу сообразил, как круто это его ранение изменило все его планы. Теперь, видно, следовало заботиться единственно о том, чтобы не попасть к немцам. Базы ему уже не видать...

10

Они все шли по колено в снегу, без лыж — бессильно тащились, вцепившись друг в друга, от усталости едва не падая в снег. Пивоваров выбивался из сил, но не оставлял лейтенанта, правой рукой поддерживая его, а в левой волоча за ремни автомат и винтовку да на плече свой все время сползавший вещевой мешок. Ивановскому уже совсем невтерпеж были эти муки, но, сцепив зубы, он вынуждал себя на последние усилия и шел, шел, только бы подальше уйти от той злосчастной деревни.

Тем временем в ночи повалил снег, вокруг забелело, затуманилось, мутное небо сомкнулось с мутной землей, затканной мигающе-секущим потоком снежинок. Невозможно было поднять лицо. Но ветер был слабее, чем вчера, к тому же, казалось, дул в спину, и они слепо брели по полю, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Сплевывая кровь, Ивановский с тоской отмечал, как таяли его силы, и упрямо шел, надеясь на какое-то пристанище, чтобы не погибнуть здесь, в этом поле. Погибать он не хотел, пока был жив, готов был бороться хоть всю ночь, сутки, хоть вечность, лишь бы уцелеть, выжить, вернуться к своим.

Наверно, Пивоваров чувствовал то же, но ничего не говорил лейтенанту, только как мог поддерживал его, напрягая остатки своих далеко не богатырских сил. В других обстоятельствах лейтенант, наверно, удивился бы, откуда они еще брались у этого тщедушного, заморенного на вид паренька, но теперь сам он был слабее его и целиком зависел от его пусть даже небольших возможностей. И он знал, что если они упадут и не смогут подняться, то дальше будут ползти, потому что какое ни есть — спасение у них впереди; сзади же их ждала смерть.

В какой-то ложбине с довольно глубоким снегом они нерешительно остановились раз и другой. Пивоваров, придерживая лейтенанта, пытался рассмотреть что-то впереди, что лейтенант не сразу и заметил. Потом, присмотревшись сквозь загустевшую в ночи круговерть, он тоже стал различать неясное темное пятно, размеры которого, как и расстояние до него, определить было невозможно. Это мог быть и куст рядом, и какая-то постройка вдали, а возможно, и дерево — ель на опушке. Тем не менее это пятно насторожило обоих, и, подумав, Пивоваров опустил Ивановского на бок.

— Я схожу. Гляну...

Лейтенант не ответил, говорить ему было мучительно трудно, дышал он с хрипом, часто сплевывая на снег. Рукавом халата вытер мокрые губы, и на белой влажной материи осталось темное пятно крови.

— Вот, наверно, и все...

"Если уж изо рта идет кровь, то, по-видимому, недолго протянешь", — невесело подумал он, лежа на снегу. Голова его клонилась к земле, и перед глазами плясали огненно-оранжевые сполохи. Но сознание оставалось ясным, это вынуждало бороться за себя и за этого вот бойца, нынешнего его спасителя. Спаситель сам едва стоял на ногах, но до сих пор лейтенант не мог ни в чем упрекнуть его — там, в деревне, и в поле Пивоваров вел себя самым похвальным образом. Теперь, почувствовав преимущество над командиром, он как-то оживился, стал увереннее в себе, расторопнее, и лейтенант подумал с уверенностью, что в выборе помощника он не ошибся.

Несколько минут он терпеливо ждал, тоскливо прислушиваясь к странному клокотанию в простреленной груди. Рядом лежал вещмешок Пивоварова, и лейтенант подумал, что надо, видимо, им разгрузиться, выбросить часть ноши. Теперь уж большой запас ни к чему, необходимы личное оружие, патроны, гранаты. Бутылки с КС, по-видимому, были уже без надобности. Но, обессилив, он не смог бы даже развязать вещмешок и лишь немощно клонился головой к земле. Он не сразу заметил, как из снежных сумерек бесшумно появилась белая тень Пивоварова, который обрадованно заговорил на ходу:

— Товарищ лейтенант, банька! Банька там, понимаете, и никого нет.

Банька — это хорошо, подумал Ивановский и молча, с усилием стал подниматься на ноги. Пивоваров, подобрав вещмешок, ППД, помог встать лейтенанту, и они опять побрели к недалекому притуманенному силуэту бани.

Действительно, это была маленькая, срубленная из еловых вершков, пропахшая дымом деревенская банька. Пивоваров отбросил ногой палку-подпорку, и низкая дверь сама собой растворилась. Нагнув голову и хватаясь руками за стены, Ивановский влез в ее тесную продымленную темноту, повел по сторонам руками, нащупав гладкий шесток, шуршащие веники на стене. Пивоваров тем временем отворил еще одну дверь, и в предбаннике сильно запахло дымом, золой, березовой прелью. Боец вошел туда и, пошарив в темноте, позвал лейтенанта:

— Давайте сюда. Тут вот лавки... Сейчас составлю...

Ивановский, цепко держась за косяк, переступил порог и, нащупав скамейки, с хриплым выдохом вытянулся на них, касаясь сапогами стены.

— Прикрой дверь.

— Счас, счас. Вот тут и соломы немного. Давайте под голову...

Он молча приподнял голову, позволив подложить под себя охапку соломы, и обессиленно смежил веки. Через минуту он уже не мог разобрать, то ли засыпал, то ли терял сознание, оранжевое полыхание в глазах стало сплошным, непрекращающимся, мучительно кружилось в голове, тошнило. Он попытался повернуться на бок, но уже не осилил своего налитого тяжестью тела и забылся, кажется, действительно потеряв сознание...

Приходил он в себя долго и мучительно, его знобило, очень хотелось пить, но он долго не мог разомкнуть пересохшие губы и попросить воды. Он лишь с усилием открыл глаза, когда почувствовал какое-то движение рядом, — из предбанника появилась белая тень Пивоварова с откинутым на затылок капюшоном и его автоматом в руках. В баньке было сумрачно-серо, но маленькое окошко в стене светилось уже по-дневному, ясно просвечивали все щели в предбаннике, и лейтенант понял, что наступило утро. Пивоварова,

однако, что-то занимало снаружи, сгорбившись, боец припал к маленькому окошку, что-то пристально высматривая там.

Ивановский попытался повернуться на бок, в груди его захрипело, протяжно и с присвистом, и он закашлялся. Отпрянув от окошка, Пивоваров обернулся к раненому:

— Ну как вы, товарищ лейтенант?..

— Ничего, ничего...

Он ждал, что Пивоваров и еще что-то спросит, но боец не спросил ничего больше, как-то сразу притих и, пригнувшись все у того же окошка, сказал шепотом:

— Вон немцы в деревне.

— В какой деревне?

— В этой. Вон крайняя хата за вербой. Немцы ходят.

— Далеко?

— Шагов двести, может.

Да, если в двухстах шагах немцы, которые еще не обнаружили их, то можно считать, им повезло в этой баньке.

Правда, до сих пор была ночь, вот начинается день, и кто знает, сколько им еще удастся просидеть тут незамеченными.

— Ничего. Не высовывайся только.

— Дверь я прикрыл, — кивнул Пивоваров в сторону входа. — Лопатой подпер.

— Хорошо. Воды нет?

— Есть, — охотно отозвался Пивоваров. — Вот в дежке вода. Я уже пил. Со льдом только.

— Дай скорее.

Пивоваров неловко напоил его из какой-то жестянки, вода пахла вениками, к губам припала размокшая березовая листва. В общем, вода была отвратительная, словно из лужи, и так же отвратительно было внутри у лейтенанта — что-то разбухало в груди, уже с трудом можно было вдохнуть: откашляться он не мог вовсе.

После питья стало, однако, легче, сознание вроде прояснилось, Ивановский огляделся вокруг. Банька была совершенно крохотная, с низким, закопченным до черноты потолком, такими же черными от копоти стенами. В углу, возле двери, чернела груда камней на печурке, возле которой стояла кадка с водой. На низком шесте над ним висели какие-то забытые тряпки. Конечно, в любой момент и по любой надобности тут могли появиться люди, которые и обнаружат их. И как он не подумал прежде, что банька не может быть далеко от деревни и что в этой деревне тоже могут быть немцы?

— Что там видать? — глухо спросил он Пивоварова, замершего теперь в предбаннике возле дверной щели.

— Да вон со двора вышли... Двое. Закуривают... Пошли куда-то.

— Немцы?

— Ну.

— Ничего, Смотри только. Легко они нас не возьмут.

Конечно, он понимал цену своего голословного утешения, но что он мог еще? Он знал только, что, если нагрянут немцы, придется отбиваться, пока хватит патронов, а там... Но, может, еще и не нагрянут? Может, они и вовсе уйдут из деревни? Странно, но теперь в его ощущениях появились какие-то новые, почти незнакомые ему оттенки, какое-то неестественное в этой близости от немцев успокоение, похоже, он утратил уже свою спешку, свое нетерпение, не оставлявшее его все последние дни. Теперь все это разом куда-то исчезло, пропало, наверное, вместе с его силами, лишившись которых он лишился также и своего душевного напора, энтузиазма. Теперь он старался поточнее все взвесить, выверить, чтобы поступить наверняка, потому что любая ошибка могла оказаться последней. И первой его ясно понятой неизбежностью была готовность ждать. Днем в снежном поле, на краю деревни, ничего нельзя было, кроме как запастись до ночи терпением, чтобы с наступлением темноты что-то предпринять для своего спасения.

Но чтобы ждать, тоже нужны были силы, надо было как-то удержать в себе зыбкое свое сознание, усилием воли сохранить выдержку. Это тоже было нелегко, даже здоровому, каким был Пивоваров. В этой западне на виду у немцев не просто было совладать с нервами, думал лейтенант, наблюдая, как кидался по баньке боец — то к окошку в стене, то в предбанник с множеством щелей. Выглядел он испуганным, и каждый раз, глядя на бойца, Ивановский думал — идут! Но, наверно, чтобы успокоить командира да и себя тоже, Пивоваров время от времени приговаривал вслух:

— Кто-то на тропку вышел... К колодцу вроде. Ну да. Какая-то тетка с ведром...

И минуту спустя:

— О, о! Выходят. Нет, стали. Стоят... Пошли куда-то.

— Куда пошли?

— А черт их знает! Спрятались за сараем.

— Ничего, не волнуйся. Сюда не придут.

Он не стал забирать у бойца свой автомат, подумав, что при случае тот справится с ним ловчее, у него же оставалась граната. Теперь без гранаты ему нельзя. Он отвязал ее от пояса и положил возле лавки. У изголовья стояла прислоненная к стене винтовка — все было на месте, оставалось терпеливо ждать, полагаясь на удачу.

— Сунутся, тут и останутся, — сказал Пивоваров, подходя к окошку. — Правда, и мы...

Ивановский понял, что не досказал Пивоваров, и спросил неожиданно:

— Жить, хочешь?

— Жить? — почти удивился боец и вздохнул. — Не худо бы. Но...

Вот именно — но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой — преждевременная, страшная в своей обыденности смерть. С этого все и началось, и, что бы ни случилось потом, в последующих передрыгах, неизменно все натыкалось на это роковое НО. Чтобы как-то обойти его, обхитрить, пересилить на своем пути и продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, — в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага — другого выхода на войне, видимо, не было.

А что вот, если, как теперь, ему невозможно и убить? Он мог лишь убить себя, а боец он уже был плохой. Как бы ни утешал он себя и Пивоварова, как бы ни вынуждал на усилия, он не мог не сознавать, что с простреленной грудью он не вояка.

Тогда что же — тихо умереть в этой баньке?

Нет, только не это! Это было бы едва не подлостью по отношению к себе, к этому бойцу, которого он тоже обрекал на гибель, по отношению ко всем своим. Пока жив, этого он себе не позволит.

Он даже испугался этой своей мысли и очнулся от короткого забытья. Надо было предпринять что-то, предпринять немедленно, не теряя ни одной минуты жизни, потому что потом может быть поздно.

Мечась в горячечных мыслях, он долго мучительно перебирал все возможные пути к спасению и не находил ничего. Тогда опять наступила апатия, расслабляющая ум отрешенность, готовность покорно ждать ночи.

"Проклятая деревня!" — в который раз твердил он себе, она его погубила. И надо же было так нелепо наткнуться на этого фрица, поднявшего крик, вступить в перестрелку, получить пулю в грудь... Но все-таки что-то там есть. Эта тишина, скрытность, несомненно, были искусственными, поддержанными твердой дисциплиной, невозможной без власти большого начальства. Опять же антенны... По всей видимости, там расположился какой-то большой, может, даже армейский штаб, в глубоком тылу маленького штаба не будет. Как было

бы кстати нанести по нему удар!.. Но как нанесешь? Самолеты теперь не летают, а установится погода — тогда ищи его, как эту вот распроклятую базу боеприпасов.

Что же, ему не повезло в самом начале, а в конце тем более. Если бы не это ранение, по существу, погубившее его, уж что-нибудь он бы, наверно, придумал. Можно было бы устроить засаду, взять "языка". Но теперь как возьмешь? Теперь его самого можно взять вместо "языка", разве что толку от него будет немного. Впрочем, пока он живой и у него есть граната, которой вполне хватит для обоих и для этой вот баньки, его им не взять. Видно, на гранату теперь вся надежда.

Но шло время, а никто их не тревожил в этом тесном и темном, провонявшем дымом убежище на краю села. Пивоваров теперь больше простаивал за простенком, изредка комментируя то, что удавалось увидеть сквозь щель. Но вот он умолк, видно, ничего особенного там не было, и лейтенант вдруг тихо спросил:

— У тебя мать есть?

Наверное, это был странный в их положении вопрос, и Пивоваров не понял:

— А? Что вы сказали?

— Мать есть?

— Есть, конечно.

— И отец?

— Нет, отца нет.

— Что, помер?

— Да так, — неопределенно замялся Пивоваров. — Я с матерью жил. Вот если бы она знала, как нам тут! Было бы страху!

— Хорошая мамаша?

— Ну, — односложно подтвердил боец. — Я же у нее один. Бывало, все для меня.

— Откуда родом?

— Я? Из-под Пскова. Городок такой есть — Порхов, может, слышали? Вот там жили. Мама в школе работала, учительницей.

— Говоришь, обожала?

— Ну. Еще как! Прямо смешно было. С ребятами когда нашалишь — трагедия. Завтрак не доешь — трагедия. А уж если заболею — ого! Всех врачей на ноги поднимет, неделю лекарствами кормить будет. Смешно было... А теперь не смешно.

— Теперь не смешно, — вздохнул лейтенант.

— Мама — золото. Я у нее один, но и она у меня ведь тоже одна. У нас там и родни никакой. Мама из Ленинграда сама. До революции в Питере жила.

Сколько мне про Питер нарасказывала!.. А я так ни разу и не съездил. Все собирался, да не собрался. Теперь после войны разве.

— После войны, конечно.

— Я, знаете, ничего. Я не очень: убьют, ну что же! Вот только мать жалко.

Матери жаль, разумеется, молча согласился Ивановский, впрочем, жаль и отца тоже. Даже и такого, каким был его отец, ветеринар Ивановский. Не очень добрый и не очень чтоб умный, любитель посудачить с мужиками и в меру выпить по праздникам, он иногда казался глубоко несчастным, потрепанным жизнью неудачником. В самом деле, у всех были жены, заботящиеся о питании, быте, семейных удобствах, в разной степени, но неизменно обожающие своих мужей-командиров, а они с отцом, сколько помнил Игорь, всегда жили в каких-то каморках, углах, на частных квартирах, обходясь на обед куском сала, миской капусты, вчерашними консервами и одной на двоих алюминиевой ложкой. Мать свою Игорь едва помнил и почти никогда не спрашивал о ней у отца, знал: стоит завести о ней разговор, как отец не может удержаться от слез. С образом матери была связана какая-то семейная драма Ивановских, и сын даже не знал, была ли она жива или давно умерла. Впрочем, как выяснилось потом, отец тоже знал об этом едва ли больше его.

Об отце Ивановского знакомые говорили разное, по-разному относился к нему его сын, но все равно это был отец, по-своему любивший единственного своего сына, желавший ему только хорошего, радовавшийся его военному будущему. И вот дорадовался. Последнее письмо от него Ивановский получил в училище перед выпуском, в начале июня; отец был под Белостоком, все в том же пограничном отряде, а Игорь получил назначение в Гродно, в распоряжение армейского отдела кадров, и думал, что они скоро свидятся. Он даже не ответил отцу на его письмо, а потом уж и отвечать стало некуда. Где он, жив или нет? Никто ему толком ответить не мог, да и спрашивать было не у кого. Видно, с отцом у Ивановского все навсегда было кончено, надежд на встречу никаких не осталось...

Так же, как и с его Янинкой...

Странно, но ту страшную разлуку с девушкой он переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, разлуку с отцом. Правда, потом в боях, в кровавой сумятице фронтовых будней часто забывал о ней, чтобы совершенно неожиданно где-нибудь на ночлеге, в тихую минуту перед щемящей неизвестностью предстоящего боя вдруг вспомнить до пронзительной боли в сердце. Он никому не рассказывал об этой своей первой и, наверно, последней, такой скоротечной любви, знал, чувствовал: у других было не легче. Кто в войну не переживал, не сох, не страдал от разлуки

с любимой, матерью, женой или детьми... Разлуки томили, жгли, болью точили сердца, и никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить эту боль.

...Кажется, он снова забылся — уснул или просто затих на мучительном рубеже между жизнью и смертью, и когда очнулся, банька почти погрузилась в сумерки. Он уже не глядел на свои часы, время теперь для него потеряло свой изначальный смысл, состояние его вроде и еще ухудшилось. Он часто, мелко дышал, утренний озноб сменился теперь потливым жаром. Очнувшись, он пошарил по баньке взглядом и увидел Пивоварова, который сидел на опрокинутом деревянном ведре у окна и грыз сухарь. Окно потело от его дыхания, и боец рукавицей то и дело протирает стекла.

— Что там? — открыв и снова закрывая глаза, спросил лейтенант.

— Все то же. Не уходят, сволочи.

Не уходят — значит, в деревню не сунуться. Но куда же, кроме деревни, им теперь можно сунуться? В поле будет похуже, чем в этой баньке, в поле доконает мороз. Но и здесь вряд ли они дождутся хорошего.

Черт, нужны были лыжи, они зря бросили их в той деревне. Хотя там, под огнем, было не до лыж — важно было унести ноги. Но теперь вот без лыж они просто не могли никуда уйти из этой бани.

Конечно, ему все равно, лично ему лыжи уже без надобности. Но Пивоварову они просто необходимы. Без лыж парню никак не добраться до линии фронта — на первом же километре дороги его схватят немцы.

— Пивоварчик, как думаешь, до той деревни далеко?

— Какой деревни?

— Ну той... вчерашней.

— Может, километра два.

Оказывается, так близко, а ему ночью казалось, что они ушли от нее километров на пять, не меньше. Впрочем, меры расстояний и времени, очевидно, потеряли для него истинное свое значение, каждый метр пути и каждая минута жизни невероятно растягивались его муками, искажая нормальное, человеческое восприятие их. Наверно, теперь ему следовало больше полагаться на Пивоварова.

— А что надо, товарищ лейтенант? — спросил боец.

— Сходить за лыжами. Ночью. Может, не подобрали немцы.

Пивоваров помолчал минуту, что-то прикидывая про себя, потом со вздохом ответил:

— Что ж, я схожу. Пусть потемнеет только.

— Да. Надо, знаешь...

— Ну. Только вы... Как вы тут?..

— Как-нибудь. Я подожду.

Еще не совсем стемнело, но Пивоваров поднялся и, не мешкая, стал собираться в дорогу. Первым делом он стащил с ноги кирзовый сапог и перемотал портянку. Потом вынул из вещмешка два сухаря, сунул в карман; вещмешок переставил ближе к Ивановскому.

— И это... Автомат возьму — ладно?

— Возьми.

— С автоматом, знаете... Увереннее.

Лейтенант видел, Пивоваров не мог сдержать радости, получив такое оружие, о котором мечтал каждый боец на фронте. Автоматы были еще новинку, пехоту почти сплошь вооружали винтовками. Ивановский сам получил его накануне выхода: генерал, раздобывшись, приказал своему коноводу передать автомат лейтенанту. Конечно, теперь в их положении оружие решало если не все, то многое, на извечной силе оружия держались мизерные их возможности.

— А винтовка пусть здесь побудет. В случае чего вам сгодится.

Лейтенант не возражал, и Пивоваров снял с ремня оба брезентовых подсумка, звякнув обоймами, положил их на пол возле скамейки.

— Винтовка хорошая: бой в самую точку. Старшина пристреливал.

Ивановский, рассеянно слушая бойца, думал, что винтовка, несколько обойм патронов, противотанковая граната и две бутылки с КС — наверно, этого будет достаточно. Повезет — он дождется Пивоварова с лыжами, и, может, они еще что предпримут. А нет — придется стоять за себя до конца.

Пивоваров перемотал и другую портянку, подтянул ремень и с видимым удовольствием закинул за плечо автомат. Похоже, он уже был готов отправиться в недалекий, но, кто знает, вряд ли безопасный путь.

— Сколько на ваших там? Пять уже? Ну, я за часок обернусь, тут недалеко...

За часок он обернется, и опять они будут вместе. В минуту новой разлуки Ивановский почувствовал, как, в общем, неплохо ему было с этим тихим безотказным парнишкой и как, наверно, нелегко будет теперь в одиночестве пережить этот час. Разобщенность значительно ослабляла их силы. В действие вступала странная, попирающая математику логика, когда два, разделенное на два, составляло менее чем единицу, так же как в других случаях две вместе сложенные единицы заключали в себе больше двух. Наверно, такое с трудом согласовывалось с нормальной логикой и было возможно лишь на войне. Но что это именно так, лейтенант слишком хорошо знал по собственному опыту.

Боец готов был идти, но почему-то медлил, наверно, недоставало еще какой-нибудь самой последней малости в их прощании. Ивановский знал, в чем была эта малость, и он колебался. Появилась последняя возможность

заглянуть в ту злосчастную деревню и еще раз попытаться узнать что-либо о штабе. Хотя бы в общих чертах, чтобы не с пустыми руками предстать перед пославшим их генералом и хоть в какой-то степени искупить их досадную неудачу с базой. Но он не мог не знать также, что малейшая неосторожность Пивоварова может обернуться сразу тройной бедой, навсегда покончив с их и без того ничтожной возможностью исполнить свой долг и вернуться к своим.

— Так я пойду, товарищ лейтенант, — решился Пивоваров, поворачиваясь к порогу, и лейтенант сказал:

— погоди. Знаешь... Я не настаиваю, смотри сам. Но... Может, ты как сумеешь... Что там, в деревне? Похоже ведь — штаб...

Он замолчал. Пивоваров настороженно ждал, но, не дождавшись ничего более, сказал просто:

— Хорошо. Я попробую.

Что-то в Ивановском протестующе вскричало в простреленной его груди. Что значит — попробуй, от пробы немного проку, тут нужна змеиная хитрость, упорство, выдержка, и то сверх всего остается риск головой. Но он не мог этого объяснить бойцу, что-то мешало ему говорить о страшных, хотя и слишком обычных на войне вещах, к тому же он едва осиливал в себе боль и слабость. И он лишь выдохнул:

— Только осторожно!..

— Да ладно. Вы не беспокойтесь. Я тихонько...

— Да. И недолго...

— Ладно. Вот тут водички вам, — зачерпнув в кадке, боец поставил у изголовья жестянку с водой. — Если пить захотите...

Утомленный трудным разговором, Ивановский прикрыл глаза, слушая, как Пивоваров вышел в предбанник, не сразу, осторожно, отворил там дверь и плотно прихлопнул ее снаружи. Минуту еще Ивановскому слышны были его удаляющиеся за банькой шаги, они быстро глохли, и с ними, казалось, уходила какая-то надежда; что-то для них безвозвратно заканчивалось, не начав нового. Он стал ждать, тягостно, упорно, вслушиваясь в каждый шорох ветра на крыше, каждый отдаленный в деревне звук; он жил в тревожном скупом мире звуков, иногда заглушаемых собственным кашлем и глухим хрипом в груди.

Постепенно, однако, слух его стал притупляться от усталости, вокруг все было тихо, и сознанием завладевали мысли, которые причудливо ветвились во времени и пространстве. Похоже, он начинал дремать, и тогда среди полубредовых видений выплывало что-то похожее на быль или его прошлое, тревожившее и сладостно томившее его одновременно.

До отхода поезда оставалось несколько последних минут, а она стояла на платформе и плакала. Никто, видно, не провожал ее здесь, и никто не встречал, вообще народу в этот утренний час на перроне было немного, и Ивановский, опустившись на ступеньку ниже, шутливо окликнул девушку:

— Эй, красавица, зачем плакать? Другого найдем.

Сказано это было из молодого озорства, дорожной, ни к чему не обязывающей легкости в отношениях между незнакомыми людьми, которые случайно столкнулись и тут же расстаются, чтобы никогда больше не встретиться. Но девушка уголком цветастой, повязанной на шею косынки смахнула слезу и бегло скользнула по нему испытующим взглядом. Сзади за ним, держась за поручень, нависал Коля Гомолко, оба они были в хорошем, приподнятом настроении и, казалось, любое на свете горе могли обратить в шутку.

— А то давай к нам! До Белостока!

Девушка машинально поправила на тонкой шее косынку, снова скользнула взглядом по лицам двух одетых во все новое военных парней, и на ее губах уже встрепенулась легонькая улыбка.

— А мне в Гродно.

— Какое совпадение! — шутливо удивился Ивановский. — Нам тоже в Гродно. Поехали вместе.

Не заставив себя уговаривать, она подобрала стоявший у ног чемоданчик и ловко ухватила за поручень уже отходившего поезда. Ивановский поддержал ее, и, несколько смущенная и обрадованная таким оборотом дела, новая пассажирка поднялась на площадку.

— Билет, билет, гражданочка! — тут же потребовал от нее суетливый дядька-проводник, который с флажками в руках спешил к выходу.

— Есть билет! Все в порядке! — тоном, не оставляющим тени сомнения, сказал Ивановский, протискиваясь в вагон.

Он повел девушку в купе, где они размещались с Гомолко, неся в руках ее чемоданчик, показавшийся ему до странности легким, скорее всего пустым.

— Вот, пожалуйста. Можете занимать мою. Я заберусь наверх, — с радушной легкостью предложил Ивановский нижнюю полку и поставил на нее чемоданчик. Она послушно присела у окошка и не сразу, преодолевая видимое смущение, тихо сказала:

— У меня нет билета.

— Что, не хватило?

— Меня обокрали.

— Как?

— Ночью. В поезде из Минска.

Это было хуже. Кажется, они взяли на себя ответственность не по плечу, тем самым нарушая строгий порядок железных дорог. Но и отступать теперь не годилось. Игорь, взглянув на Николая, прочитал на его грубоватом, всегда нахмуренном лице решимость стоять на своем, и сам тоже решился.

— Ничего! С проводником договоримся...

Но договариваться пришлось не только с проводником, но также и с ревизором, и с бригадиром поезда, и переговоры эти закончились тем, что на следующей крупной станции, куда прибыл поезд, Ивановский сбегал в вокзальную кассу и едва успел захватить последний билет на уже занятое ею место. Билет был до Гродно, и девушка скоро пришла в себя, даже заулыбалась, окончательно пережив свои злоключения. Оправившись от волнений, она оказалась общительной и, в общем, приятной девчушкой, вскоре не без юмора поведавшей им о своем дорожном происшествии. Оказалось, что она живет в Гродно и в Минск ездила к родственникам, которых никогда не видела, и тут такое несчастье в вагоне. У нее все забрали из чемоданчика, кроме того, унесли плащик, жакет и, разумеется, деньги. Но вот она спасена и очень обязана обоим за их великодушное участие и помощь.

— Да ну, о чем разговор! — отмахнулся Ивановский и перевел разговор на другое: — А вы давно в Гродно?

— Там и родилась.

— Ого, значит, местная?

— Разумеется.

— И так хорошо говорите по-русски?

— А у нас всегда дома говорили по-русски. У нас отец русский и тетя, его сестра, тоже русская. Только мама полька.

— А где вы учились?

— В польской гимназии. Русских же не было.

— А как вас зовут?

— Янинка. А вас, если не военная тайна? — сверкнула она в его сторону лукавой усмешкой.

— Меня Игорь. А его — Николай.

— У меня дядя, что в Минске, тоже Игорь. Игорь Петрович. А вы к нам служить едете?

Тут же они переглянулись, это действительно в какой-то мере относилось к области военной тайны, с легкостью, однако, разгаданной их попутчицей. Но что было скрытничать! Действительно, неделю назад после окончания училища они получили назначение в армию, штаб которой размещался в этом же Гродно.

— Похоже, что так, — неопределенно ответил Ивановский. — А что, это Гродно — ничего городок?

— Очень хороший город. Не пожалеете.

— Думаешь, нас в Гродно оставят? — со свойственным ему скептицизмом сказал во всем сомневающийся Гомолко. — Запрут куда-нибудь в лесной гарнизон.

— О, в лесу хорошо! У нас такие леса!..

Ивановский промолчал. Его отношение к лесу, даже самому замечательному, мало походило на восторги этой девчушки. Еще в училище, в многомесячных летних лагерях, леса, поля, вся эта удаленность от постоянных очагов обитания с их не бог весть каким, но все же устроенным бытом успевали так надоесть к осени, что самая роскошная природа становилась несносной — хотелось в город. Правильно кем-то сказано, что военные не замечают природы, для них важнее погода.

Тем не менее в наивной восторженности Янинки сквозила такая искренность, что Ивановский заулыбался, готовый уже согласиться на любой гродненский лес. И вообще что-то ему все больше в ней нравилось, в этой миловидной, с кокетливо рассыпанными по лбу светлыми кудряшками девушке в цветастом ситцевом платье. Ему уже было неловко за ту фривольную шутку на вокзале в Барановичах, за их навязчивость, которую извиняло разве что их последующее участие.

Поезд с короткими остановками на маленьких станциях шел все дальше на запад. За окном проносились зеленые июньские поля, перелески, величественные сосновые боры, деревни и хутора, хутора повсюду. Ивановский никогда не был в этой стороне Белоруссии, и теперь в нем вспыхнул неподдельный интерес ко всему, что относилось к этой жизни, неведомой для него.

На какой-то небольшой станций их вагон остановился как раз напротив крохотного привокзального базарчика, и Ивановский, выскочив на платформу, торопливо купил в газетку немудрящей крестьянской снеди — огурцов, редиски, крестьянской колбасы и даже миску горячей, рассыпчатой, вкусно пахнущей молодой картошки. Потом они ели все вместе, парни заботливо угощали девушку, которая совсем уже освоилась в их компании, охотно смеялась, шутила, за обе щеки уплетая огурец с картошкой. После обеда, наверно, что-то уловив в поведении Игоря, Николай благоразумно устранился, забравшись на верхнюю полку, чтобы поспать.

Они же остались друг против друга, разделенные лишь маленьким вагонным столиком.

Ему было хорошо с ней, хотя он все еще не мог до конца побороть в себе какое-то запоздало появившееся чувство вины, словно какую-то неловкость за свои намерения, хотя намерений у него с самого начала никаких не было. Янинка же, судя по всему, чувствовала себя вполне свободно и естественно.

Почти не смущаясь, она сняла маленькие, белые, на пробковой подошве босоножки и, обтянув на коленках короткое платьице, удобнее устроилась на твердом сиденье, все время с какой-то милой хитринкой заглядывая ему в глаза.

— А у нас, знаете, Неман, — сказала она, именно так, на белорусский манер произнеся это слово, и Ивановский внутренне улыбнулся, вспомнив свое недалекое детство, школу, известную поэму Якуба Коласа и это белорусское название никогда им не виданной реки. — Сразу под окнами крутой спуск, две вербы и плоты у берега. Я там купаюсь с плотов. Утром выбегу раненько, на реке еще легкий туман стелется, вода теплая, нигде никого. Накупаюсь так, что весь день радостно.

— А мне больше озера нравятся. Особенно лесные. В тихую погоду — замечательно, — сказал Ивановский.

— Реки лучше, что вы! В озерах вода болотом пахнет, а в речке всегда проточная, как слеза. Летом на реке прелесть. Да что там! Вот приедем — покажу. Уверяю, понравится.

Конечно, должно понравиться. Он уже был уверен, что это необыкновенное что-то: домик, две вербы на обрыве и плоты у берега, с которых можно нырять в глубокий быстроводный Неман. И он рисовал это в своем воображении, хотя по опыту знал, что самое богатое представление никогда не отвечает действительности. В действительности все иначе — хуже или лучше, но именно иначе.

Янинка держала себя с ним легко и свободно, так, словно они давным-давно были знакомы, а он все продолжал чувствовать какую-то необъяснимую скованность, которая не только не проходила, но как будто все больше овладевала им. Игоря тревожило, что, бесцеремонно окликнув ее в Барановичах, он выказал себя человеком легкомысленным, склонным к мелким дорожным авантюрам и что она не могла не понимать этого. Хотя никакого легкомыслия в том не было, была простая ребяческая игривость, может, и не совсем приличествующая двадцатидвухлетнему выпускнику военного училища, только что аттестованному на должность командира взвода. Тогда, на перроне, он толком и не рассмотрел ее, только увидел — рассматривал он ее теперь широко раскрытыми, почти изумленными глазами, которые, как ни старался, не мог оторвать от ее живого, светящегося радостью лица.

К концу дня, подъезжая к Гродно, он уже знал, что не расстанется с нею, — она все больше очаровывала его своим юным изяществом и влекла чем-то загадочным и таинственным, чему он просто не находил названия, но что чувствовал ежеминутно. О ее дорожных злоключениях они не говорили,

похоже, она забыла о них и только однажды озабоченно двинула бровями, когда переставляла на полке легонький свой чемоданчик.

— И даже белила забрали. Папе везла. У нас теперь белил не достать.

— А он что, маляр? — не понял Игорь.

— Художник, — просто сказала Янинка. — А с красками теперь плохо. Раньше мы краски из Варшавы выписывали.

Вечером поезд прибыл на станцию Гродно, и они, слегка волнуясь, сошли на перрон. Янинка, размахивая своим пустым чемоданчиком, довела их до штаба армии, благо тот был ей по пути, но в штабе, кроме дежурного, никого не оказалось, надо было дожидаться утра. Переночевать можно было тут же или в гарнизонной гостинице. Лейтенанты, однако, не стали искать гостиницу и внесли свои чемоданы в какую-то маленькую, похожую на каптерку комнатку с тремя солдатскими койками у стен. Гомолко сразу же начал устраиваться на одной из них, что стояла под нишей, а Игорь, едва смахнув с сапог пыль, поспешил на улицу, где на углу под каштаном его уже дожидалась Янинка. Она обрадовалась его появлению, а еще больше тому, что он был свободен до завтра, и они пошли по вечерней улице города.

За те два часа, что он провел в штабе, Янинка успела переодеться, и теперь на ней была темная юбка и светлая шелковая кофточка с крохотным кружевным воротничком; твердо постукивали по тротуару высокие каблочки модных туфель. Принаряженная, она казалась взрослей своих юных лет и выше ростом — почти вровень с его плечом. Они шли вечернею улицей, и ему было приятно, то ее тут многие знали и здоровались, мужчины — со сдержанным достоинством прикладывая руку к краям фасонистых шляп, а женщины — вежливым кивком головы с доброжелательными улыбками на приветливых лицах. Она отвечала с подчеркнутой вежливостью, но и с каким-то неуловимым достоинством и сдержанно вполголоса рассказывала о попадавшихся на глаза достопримечательностях этой нарядной, утонувшей в зелени улицы.

— Вот наша Роскошь, так она называлась при Польше. Ничего особенного, но вот церковь, построенная в память павших на русско-японской войне девятьсот пятого года. Низенькая, правда, но очень аккуратная внутри церковка. Я там крестилась. А дальше, смотрите, видите такие забавные домики, вон целый ряд, с фронтонами вроде гребешков. Это дома текстильщиков из Лиона. Еще в семнадцатом веке богач Тизенгауз выписал из Лиона ткачей и построил для них точно такие дома, как во Франции. А это вот домик польской писательницы Элизы Ожешко, она здесь жила и умерла. Знаете, писала интересные книжки.

Городок ему действительно нравился скромным, но обжитым уютом своих вымощенных брусчаткой улочек с узенькими, выложенными плиткой

тротуарчиками, отделанными каменными скосами и бордюрами. На стенах многих домов густо зеленел виноград, некоторые из них до третьих этажей были увиты его цепкими лозами. Но больше всего он ждал встречи с расхваленным Янинкой Неманом, который, как она сказала, протекал тут же, разделяя город на две неравные части.

Возле готической громады костела улица сворачивала в сторону, они миновали торговые ряды, городскую ратушу и вышли на угол, где под каштанами устроилась мороженщица со своей коляской. Янинка, которая все время шла рядом, легонько тронула его за локоть.

— Игорь, можно мне попросить вас?

— Да, пожалуйста, — с полной готовностью исполнить самую невероятную ее просьбу произнес он.

— Знаете, я давно мечтала... Ну, в общем, мечтала, как... Когда меня парень угостит мороженым.

— Ах, мороженым...

Игорь почти ужаснулся, подумав, какой же он, в сущности, вахлак, как не догадался сам! Ему просто невдомек было, чего могла пожелать здесь его богиня.

— Проще, паненко! Дзенькуе гжечнэго пана, — поблагодарила мороженщица, когда он отказался от нескольких копеек сдачи.

— Дзенькуе, пани Ванда, — в свою очередь церемонно поблагодарила Янинка, принимая из рук пожилой женщины вафельный стаканчик.

В конце коротенькой улицы над липами засиял такой широкий простор, какой может открыться только с очень высокого холма, и они увидели каменный мост через ров. Это был въезд в древний, с полуразрушенными стенами замок, по другую сторону от которого в глубине старинного парка высился роскошный дворец за фигурной оградой.

— Замок короля Польши Батория, — торжественно объявила Янинка. — А это Новый Замок. А теперь глянь туда. Видишь?

Он глянул через каменный, почти в человеческий рост парапет и внутренне ахнул от головокружительной высоты, на которой они оказались, — далеко внизу по каменным ступеням лестницы двигались фигурки людей, расходящиеся в обе стороны набережной, плавно огибавшей этот берег Немана и где-то терявшейся под густой крышей огромных деревьев.

— Ну, видишь? Как это нравится? — прижавшись к его локтю, добивалась Янинка.

Древние, дышащие таинственной стариной стены замков, этот прочный, перекинутый над каменной лестницей мост, огромные массивы зелени на холмах и склонах, высоченный, господствующий над всем каменный столб городской каланчи, конечно, не могли ему не понравиться, и он готов был

смотреть на это до вечера. Но вот Неман с такой высоты никак не поразил его воображение — это была обычная, средней величины, затиснутая высокими берегами река. Зато Янинка была в восторге именно от Немана и без умолку щебетала рядом:

— Посмотри, посмотри, какое течение! Видишь, быстрина. Вон там, под вербами, такие виры! Ого! Только сунься — закрутит, понесет — не выберешься.

Они прошли несколько назад и по той самой лестнице спустились на набережную. Нет, все-таки река была прекрасной, очевидно, с высоты он просто не оценил ее должным образом. По ее правому берегу шла вполне благоустроенная, обсаженная деревьями набережная, справа высились огромные, изрезанные тропинками откосы с остатками крепостных стен наверху. Река плавным изгибом скрывалась за недалеким поворотом, сплошь занятым огромными шапками верб, там где-то оканчивался город и синел хвойный лес, в который садилось красное солнце. Они медленно шли вдоль Немана, и Янинка без умолку говорила и говорила что-то, не очень обязательное в минуту вечерней благодати, а он думал, как все странно устроено в жизни. Ведь до сегодняшнего утра он и не подозревал о ее существовании на этой земле. А теперь вот, проведя с ней день, он уже не знал, как быть дальше, — дальнейшая жизнь без нее просто лишалась для него всякой радости.

Они шли долго вдоль Немана и, когда солнце совершенно скрылось за зубчатую стеной леса, повернули обратно к городу. Слушая частый перестук ее каблучков рядом, он смутно ощущал, как что-то в его жизни странным образом переиначивается, обретая еще неведомый, но очень значительный смысл. И он был рад тому, почти счастлив. Рядом едва заметно струилась блестящая гладь Немана, людные днем берега к ночи заметно опустели, уставшие за день удильщики один за другим сматывали свои удочки и уходили в город. Меж темных прибрежных камней тихо плескались волны и шатко покачивались черные, пахнущие смолой рыбацьи лодки. Огромные ветлы, нависнув над набережной, погружали ее в непроницаемый ночной мрак, в котором совершенно исчезали прохожие. Откуда-то со дворов несло сладковатым запахом дыма, слышалось мерное дыхание готовящегося к ночи города, щедрая природа которого дышала благодатным покоем извечных своих установлений, казалось, не подвластных никому на свете.

Янинка заметно приблизилась к нему, наверно, окончательно преодолев что-то разделяющее их днем, и теперь шла совсем рядом, легонько касаясь пальцами его локтя. Как-то незаметно для него она перешла на "ты", и он тоже несколько раз сказал ей "ты", отчего обоим стало удивительно просто:

исчезла дневная неловкость и непонятная, долго донимавшая его натянутость.

Как только они ступили в сгустившийся под ветлами сыроватый мрак ночи, Янинка вдруг отпрянула в сторону и с непонятной для него прытью бросилась по травянистому склону вверх. Он остановился в нерешительности, подумав о своих хромовых выходных сапогах, но она из темноты подбодрила его — давай, давай! И сама быстро полезла куда-то меж колючих кустов, все выше на кручу. Он не видел, что было наверху, полнеба там закрывало что-то похожее на раскидистую крону дерева, но он почувствовал в ее голосе азарт тайны и тоже полез в кустарник. Скинув с ног туфли, Янинка взбиралась все выше, приговаривая ему вполголоса:

— Сейчас ты что-то увидишь... Сейчас, сейчас...

Минуту спустя, одолев самое крутое место и исцарапав до крови руки, он оказался на краю неширокой, обнесенной решеткой террасы, тесаные камни которой еще источали густое, накопленное за день тепло. Рядом, закрыв половину неба, высилось могучее старое дерево и поднималась отвесная стена какого-то здания. Вокруг было тихо и темно, снизу из-под верб едва доносился тихий плеск Немана, пахло известкой от стен и укропом с недалеких, видать, огородов.

— Ну, ты понял? Ты понял, что это такое?..

— Ничего не понял...

— Наша церковь — Коложа... Двенадцатый век, ты понял?

— Понятно. Посмотреть бы...

— Посмотришь, — просто заверила Янинка. — Успеешь. А теперь. А ну иди сюда...

Она снова метнулась в темень, легко пролезла сквозь нечастую решетку ограды, перебралась через какую-то стену, и ее светлая кофточка совершенно исчезла из поля его зрения. Не желая отставать от нее, он лез в темноте следом, пока не очутился на небольшом травянистом дворике. Небо тут сплошь закрывали деревья, было темно, и в этой темноте едва брезжила серая стена рядом. Чутко прислушиваясь к тишине, Янинка пробралась босиком к низенькой двери в нише, бросив туфли, потянула на себя створку двери, заговорщически шепнув ему: "Лезь!" Он с трудом протиснулся в узкую щель, изнутри придержал створки, между которых проскользнула она. Когда створки сомкнулись, их объял такой глухой мрак, что он совершенно перестал видеть ее и, чтобы не потерять, легонько придерживал за плечи. В осторожной тишине что-то глухо застучало-захлопало вверху. Янинка вздрогнула, тут же поспешив успокоить его:

— Не бойся: это голуби.

— Я не боюсь, — шепотом ответил Игорь, хотя ему было интересно и жутковато одновременно.

— Это иконостас, это аналой, а здесь вот...

Неслышно ступая в темноте по гулкому каменному полу, она подвела его к какой-то стене, жестом заставила присесть, затаиться и негромко вскрикнула:

— О-о!

— О-о! О-о! О-о! — отозвалось в разных местах множеством негромких голосов.

— О-о-о! — повторила она погромче.

— О-о-о-о! О-о-о-о!.. — покатилося куда-то вдаль, под невидимые во мраке своды притворов и ушло вверх, заглухнув, наверно, в звоннице.

— Голосники. Понял?

— Какие голосники?

— Не знаешь? Эх ты!.. Иди сюда... Вот сюда, сюда...

Она снова повела его за руку в темноту, как зрячий водит слепого, где-то остановилась, слегка подтолкнув его в бок.

— Вот щупай. Ты же большой, наверно, достанешь.

Он начал ощупывать шершавую стену и скоро наткнулся на какие-то гладкие, отполированные впадины в ней, но понять ничего не мог, хотя ни о чем не спросил и не удивился. Он уже привык за сегодня к такому обилию загадок и впечатлений, что разобраться в них, наверно, нужно было время.

А времени как раз было в обрез, самая короткая ночь в году быстро бежала навстречу утру, и, когда они выбрались из церкви, над городом уже меркли звезды и далекий солнечный отсвет брезжил на восточном закрайке неба. Янинка, торопясь и не давая Игорю опомниться, все говорила и говорила, преисполненная душевной щедрости, тем значительным и интересным, что видела, знала, что непременно хотела разделить с ним. Подхватив туфли, она уже лезла куда-то через колючие заросли шиповника на обрыве, и он едва успевал за нею, уже не заботясь о своих выходных сапогах, которым, наверно, досталось.

— Иди, иди сюда! Ну что ты такой неловкий? Не бойся, не свалишься. Я поддержу...

Перейдя какой-то овраг, они снова выбрались на набережную совсем уже сонной, слегка парившей реки, и Янинка сбегала еще ниже — по голым камням к воде.

— Иди сюда. Пока отец спит, я тебе покажу мой цветник. Уже зацвели матейки. Знаешь матейки? Пахнут на рассвете — страх!

Скользя на кожаных подошвах, он спустился по каменному откосу вниз, к лодке, где она уже орудовала веслом, подталкивая ее ближе к берегу. Он

вскочил в лодку и едва успел ухватиться за борт, как Янинка развернула ее по течению.

— Так будет ближе. А то по мосту пока дойдешь...

— Ух ты какая! — восхищенно воскликнул он.

— Какая? Нехорошая, да? Правда, нехорошая?

— Прелесть!

— Какая там прелесть! Вот проснется отец, он задаст этой прелести.

Сильное течение на середине понесло лодку вниз, но она сумела выгрести единственным веслом к берегу, и скоро они подплыли к какому-то забору под толстенными комлями верб.

— А ну ухватись! А то унесет.

Он успел ухватиться за какой-то скользкий трухлявый столбик в воде, она соскочила на берег, и они вытащили лодку на траву.

— Утром найдут. А теперь... Вот этим переулочком, а потом вдоль сада, перейдем картошку, и там, под костелом, на берегу наш домик. Ты не очень устал? — вдруг заботливо спросила она, преданно заглядывая ему в глаза.

— Нет, ничего...

Они пошли окраинным, заросшим муравой переулком. Она несла в обеих руках свои туфли, на ходу слегка касаясь его плечом, и он чувствовал тепло ее тела, проникавшее сквозь тонкую материю кофточки, ее близкое дыхание, непонятный, волнующий запах ее волос и думал, как ему невероятно здорово повезло сегодня. Он уже был благодарен своей невоспитанности, позволившей ему ту нелепую шутку в Барановичах, благодарен этому городу с его древностями и этой ночи, такой непохожей на все множество прожитых им ночей.

— Янинка, — тихо позвал он, вплотную приближаясь к ней сзади, но она лишь торопливо прибавила шаг.

— Янинка...

— Вот обойдем этот домик, потом свернем на тропку, перейдем сад и...

— Янинка!

— Давай, давай! Не отставай. А то скоро папа встанет, да как спохватится...

По заросшей росистыми лопухами тропке вдоль забора они взобрались выше и пошли быстрее. Начинало светать. Рядом в густом мраке садов еще дремало ее Занеманье. Хорошо утоптанная стежка вывела их на край зацветающего белыми звездочками картофельного поля, где сильно запахло молодой ботвой и свежей землей. Янинка быстро шла впереди, и он, путаясь в ботве сапогами, едва поспевал за ней. Уже совсем близко на светлеющем фоне неба были видны островерхие купола костела, за которым где-то в теплой речной воде тихо плескались ее плоты. Оставалось пройти еще, может, сотню

шагов, отделявшую ее от костельной ограды, как в ночную тишь еще не проснувшегося города вторгся странный, чужой, поначалу тихий, но быстро крепнувший звук. Янинка впереди остановилась.

— Что это? Что это гудит? Это самолеты?

Да, это приближались самолеты, но он все еще не верил, что так нелепо и не вовремя начинается то самое страшное, что последние недели скверным предчувствием жило, угнетало людей. Цепляясь за слабенькую надежду, он зажал в себе испуг, страстно желая, чтобы это страшное все же не сбылось, прошло мимо.

Испуганная Янинка, будто ища защиты, метнулась к нему, и только он холодеющими руками обнял ее, как близкие могучие взрывы бросили их на твердые стебли картофеля. Тугие горячие волны ударили в спину, густо забросав их землей...

Переждав первый оглушительный грохот, он поднялся, рядом вскочила Янинка с разметанными по плечам волосами, в испачканной кофточке, зачем-то стараясь надеть на грязную ногу туфлю. Оглушенный взрывами, он не сразу услышал ее до странности слабый голос:

— На мост беги! Скорее!!! Там за костелом мост...

Ну конечно, ему надо было на мост, в штаб, он уже знал, что случилось, и иначе поступить не мог.

Не оглядываясь больше, сшибаемый ударами взрывов, падая и вскакивая, он помчался на мост, унося в горячечном сознании едва схваченный зрением испуганный образ девушки с туфлей в руках, оставшейся среди росистой, зацветающей ботвы картофеля...

12

Его вырвали из забытья вдруг долетевшие откуда-то выстрелы. Сначала ему показалось: это случайные выстрелы в здешней деревне, но, обеспокоенно прислушавшись, он понял, что доносились они с другой, противоположной деревне, стороны. Именно с той стороны, откуда они приволоклись сюда ночью и куда ушел Пивоваров. Мертвея от скверного предчувствия, Ивановский перестал дышать, вслушался, но никакого сомнения не оставалось — стреляли оттуда.

Наверное, самые первые выстрелы он пропустил не расслышав, он спохватился, только когда звучно ударила винтовка и в тишине длинно протрещал автомат. Ну, конечно, это был его автомат — немецкие стреляли иначе, это он чувствовал точно. Ивановский оперся на локоть, но в груди что-то сдавило, от боли перехватило дыхание, он закашлялся, сплюнув запекшиеся кровяные сгустки, и снова без сил откинулся на скамье. Пока он кашлял, кажется, там затихло и, сколько он ни вслушивался потом, ничего больше не было слышно.

Едва справляясь с охватившим его волнением, лейтенант нащупал подле лавки часы — было сорок минут восьмого, значит, Пивоваров отсутствовал около двух с половиной часов. Если до той деревни лишь километр, пусть два, то он уже должен был возвратиться. Но если его нет, значит... Значит, он пробрался в деревню, но не сумел уйти незамеченным, и вот его подстерегла та же участь, что и вчера Ивановского.

Лейтенант опять приподнялся, вслушался, попытался заглянуть в едва брезжившее в черной стене окошко, но не дотянулся до него, сел на скамью. Ему было дурно, огненно-красные круги плыли перед глазами. Рукой он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку. Но к чему теперь была винтовка — в баньке его пока никто не тревожил, никого поблизости не было. Вряд ли он мог что сделать, чтобы облегчить участь Пивоварова, явно попавшего в беду в деревне, но и ничего не делать он тоже не мог. С огромным усилием, хватаясь рукой за стены, он вышел в предбанник и ногой толкнул дверь.

Была зимняя ночь — как все ночи в ноябре этого года — с ветром, низким беззвездным небом, тусклым, в сутеми утопавшим пространством. Снег лежал свежий, чистый, и на нем ясно было видно несколько глубоких следов Пивоварова, они вели вдоль стены бани и сворачивали за угол.

Задыхаясь от налетов порывистого ветра, Ивановский подождал минуту, вслушиваясь в глухую тишину ночи, но ни выстрелов, ни шагов, ни криков — ничего больше не было слышно. Тогда, не прикрывая двери, он опустился у порога, прислонясь к бревнам, и сидел так час, а может, и больше. Он весь был во власти тягостного, болезненно-напряженного ожидания, ясно сознавая, что если Пивоваров в ближайшие минуты не явится, то он не явится уже никогда. Но он не явился ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие за ними часы. Когда уже ждать стало невмочь, Ивановский, не поднимаясь, на четвереньках дотянулся до кубика своих часов за порогом — было без десяти минут десять.

"Зачем же я посылал его? Зачем посылал? — раскаянно думал лейтенант. — Какие тут, к чертям, лыжи? Какой штаб? Лишь погубил его, да и себя тоже..."

Конечно, без Пивоварова он ничего уже не мог, но если он сам был обречен, то следовало подумать, как спасти хотя бы бойца. А он послал его на такое дело, где на удачу приходился один шанс из тысячи. Немцы могли устроить засаду, посадить в поле секреты и наверняка усилили охрану в деревне — не так просто было пролезть между ними. Если не удалось это ему прошлой ночью, когда штабисты были еще не пуганы, то тем более не удастся нынешней.

"Ну так что же теперь? Что?" — в тысячный раз спрашивал себя Ивановский, скрючившись сидя возле двери бани. Впрочем, он уже знал, что — он только тянул время, до последней возможности надеясь, что Пивоваров, может, придет. Но когда уже стала совершенно отчетливой вся тщетность его надежды, лейтенант, опираясь о стены, поднялся на ноги.

Он испытывал себя, чтобы знать, на что он способен или, может, не способен уже ни на что. Хотя и с трудом, но держаться на ногах он еще мог, особенно если иметь дополнительную под руками опору. Теперь опорой ему служили стены, а в поле он сможет опираться на приклад винтовки. Ноги кое-как повиновались ему, хуже было с дыханием и с головой тоже. Но он подумал, что голова, быть может, отойдет на ветру в поле, а с дыханием он как-нибудь сладит. Если помаленьку, с частыми остановками, экономно расходуя силы...

Его намерение уже целиком завладело им, и лейтенант вернулся в баньку, рассовал по карманам обоймы из подсумков. Вещмешок он не смог поднять на себя и оставил его на скамейке, зато взял с собою гранату. Дольше он уже не мог оставаться здесь ни минуты и, хватаясь за двери, вышел наружу.

Шатко, едва не падая, но с упорной, трудно объяснимой решимостью он прошел шагов двадцать по четким следам Пивоварова и только потом остановился. Винтовка оказалась куда более тяжелой, чем казалось вначале, но он на нее опирался, когда готов был упасть, и особенно в минуты остановок. Сам бы он уже не устоял на дрожащих от слабости своих ногах. Отдышавшись, каким-то странным загнанным взглядом поглядел назад. Там сиротливо темнела их банька, где они благополучно переждали сутки и куда ему, судя по всему, уже не вернуться.

Во второй заход он не одолел, наверное, и полутора десятков шагов и, пошатываясь, остановился от кашля. Кашель был самое худшее в этом его пути — глубинной нутряной болью он пронизывал его до слепящей темноты в глазах. Но Пивоваров, кажется, неплохо перевязал, подсохшая корка на ране хотя и причиняла боль, но не давала сползти бинту, кровь из раны больше не шла. Если бы только не эта адская боль внутри!

Он хотел идти как можно скорее, и теперь показателем его скорости была банька. Едва удерживаясь на ногах, он сделал уже четыре или пять остановок, всякий раз оглядываясь, но банька, как нарочно, все серела и серела в сугробы, с большим нежеланием отдаваясь в ночь. Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем серая темень окончательно поглотила ее.

Вокруг был снег, ветер и поле — лейтенант понял, что вроде бы достиг середины пути, теперь возвратиться он бы уже и не смог, на это у него просто не было сил. Он и не оглядывался, сзади уже ничего не могло быть — все хорошее или плохое ждало, его впереди.

Потом он два раза подряд упал, не устоял на ногах, вставал не сразу, полежав на снегу, пережидая боль потревоженной раны. Другой раз ему и вовсе не повезло — упал он неловко, спиной, болевой удар был настолько глубок, что на короткое время он, кажется, потерял сознание. Потом он очнулся, но долго лежал на снегу, все время чувствуя под собой округлость гранаты. Но все-таки нашел силы подняться, сесть, потом, пошатываясь, встать на ноги и сделать несколько первых, самых трудных шагов.

Он старался ни о чем не думать, он даже не осматривался, зато не отрывал взгляда от снега, по которому тянулись глубокие следы Пивоварова. Они шли в одном направлении, похоже, боец довольно уверенно помнил их путь из вчерашней деревни и быстро шел к ней. Ивановский теперь больше всего боялся сбиться с этого следа.

А сбиться было легко, особенно когда накатывала очередная волна немоги и темнело в глазах. Но тогда он останавливался, уперев в землю винтовку, и ждал, пока пройдет приступ слабости. Кроме того, ему сильно докучал ветер — не давал смотреть вдаль, выжимал слезы из глаз; иногда его сильные порывы так толкали Ивановского, что тот, пошатнувшись, едва не валился с ног. Но он упорно противостоял ветру, собственной слабости, боли. Он понимал, конечно, что вряд ли встретит Пивоварова, скорее всего никогда больше не увидит бойца, но все равно должен был пройти тот роковой путь, на который усил его. Конечно, он слишком многими рисковал на этой войне, слишком многие по его вине нашли себе на ней смерть. Но этот его риск отличался от всех — он был последним, и потому Ивановский должен был довести его до конца. И если в этой дьявольской игре со смертью он не сберег многих, то не берег и себя, и лишь это оправдывало его командирское право распоряжаться другими. Иного права на войне он не хотел признавать. В худшем случае, прежде чем умереть самому, он должен убедиться, что где-нибудь в этом поле не лежит, истекая кровью, его Пивоварчик.

Он шел и шел — шатко, расслабленно, то и дело останавливаясь и опираясь на тяжелую длинную винтовку Пивоварова. Однажды, когда от усталости подкосились ноги, сел на снегу, долго отдыхал. Но подняться опять на ноги стоило такого мучительного труда, что больше он не рисковал садиться и отдыхал, опираясь на приклад винтовки. Останавливался он теперь через каждые четыре или пять шагов. У него уже не хватало дыхания.

Опять ему показалось, что он прошел километра три, если не меньше, и он усомнился в правильности слов Пивоварова относительно расстояния до этой деревни. Трудно было поверить, что она в километре-двух от их баньки. Жаль, на этот раз он не прихватил с собой часов и не мог проследить за временем. Но по каким-то неуловимым признакам ему показалось, что деревня уже недалеко, похоже, он находился в ее окрестностях. Следы

Пивоварова, однако, все тянулись и тянулись, казалось, им не будет конца в этом поле. Где боец мог находиться сам, трудно было угадать, хотя Ивановский готовился к самому худшему. Но могло стать и так, что он, как и они вчера, ушел от погони и, раненный, где-нибудь скрылся в поле.

Ивановский едва не прошел мимо него, так как шаги на снегу все тянулись куда-то, и впереди ничего не было видно. Но вдруг в стороне, в мутной тьме ночи среди заметенного снегом бурьяна его внимание привлекло какое-то неясное движение, вроде бы мельтешение чего-то. Сперва он даже и не взглянул туда, лишь скользнув взглядом по снегу, но потом остановился, вгляделся, и что-то в нем смятенно содрогнулось внутри. Тихо, почти беззвучно, на ветру трепыхалось что-то вроде обрывка бумаги, хотя было непонятно, откуда тут могла взяться бумага. Он сошел со следов Пивоварова и, не в силах оторвать взгляда от недалекой гривки бурьяна, заплетаясь ногами в глубоком снегу, потащился туда.

Еще издали и как-то вдруг он различил белый неясный холмик в этом бурьяне, характерную линию лежащего человеческого тела, черные голенища сапог в снегу. Он остановился. В сознании его мелькнуло странное недоумение — кто может лежать тут, в ночном поле, в такую стужу? Лейтенант почему-то не решился признаться в том, что увидел Пивоварова, наверно, слишком нелепым было видеть в этой позе его бойца, казалось, это кто-то другой, случайный, чужой здесь человек.

Но все же это был он, его последний боец, его Пивоварчик. Он неподвижно лежал в разодранном маскхалате, без шапки, с обсыпанной снегом стриженной головой, раскинутыми ногами. Лейтенант не сразу заметил, что снег вокруг был густо истоптан множеством ног и в нем местами чернели круглячки автоматных гильз.

Доковыляв до бурьяна, Ивановский выронил из рук винтовку и упал рядом с бойцом. Озябшими пальцами он схватил его голову, приподнял, но, запорошенная снегом, она давно, видно, утратила всякие признаки жизни и была просто мертвой головой человека, лишенного малейшего сходства с его Пивоваровым. Ивановский принялся ощупывать его тело — разодранный маскхалат смерзся в крови, телогрейка тоже примерзла к окровавленному телу бойца, наверно, с близкого расстояния расстрелянного очередью. Снег под его телом и возле тоже смерзся твердыми корявыми буграми.

— Что же они с тобой сделали? Что они сделали? — стыл на его губах недоуменный вопрос. Но, что они сделали, и так было ясно. Видно, настигнутый ими Пивоваров был расстрелян в упор. Возможно также, они расстреляли его раненого, лежавшего на снегу в этом бурьяне, и теперь из множества дыр в его телогрейке торчало светлое клочье ваты. Карманы брюк были вывернуты, гимнастерка растегнута, худая окровавленная грудь

засыпана снегом. Автомата нигде поблизости не было видно — автомат, наверное, забрали немцы.

Поняв, что все уже кончено и никуда больше идти не надо, Ивановский сваял, обессилел и молча сидел, уронив руки на снег. Рядом лежало бездыханное тело бойца. Необычайная опустошенность овладела лейтенантом, ни одного желания, ни одной ясной мысли не было в его голове. Лишь где-то, на самом дне его чувств, медленно тлел какой-то забытый уголек гнева, почти озлобления. Этот уголек разгорался, однако, все более, чем дальше шло время. Но он уже не имел конкретной направленности против кого-то — скорее это догорала его человеческая обида на такой его неудачный конец. Теперь Ивановский уже знал точно, что не выживет, не спасется, не пробьется к своим, что и его смерть будет на этом же поле, меж двумя безвестными деревнями, и никто уже не доложит начальству ни об их гибели, ни об этом немецком штабе. Штабу, разумеется, никто ничего сделать не сможет, потому что наши далеко, а мертвые лишены малейшей возможности что-либо сделать. И ему ничего более не оставалось, как сидеть рядом и ждать, когда мороз и ранение отнимут у него последние остатки жизни. В чем-то это было даже заманчиво, так как освобождало его от изнурительной борьбы с немцами, болью, собой. Чтобы закончить все побыстрее, может, имело смысл выдернуть чеку из противотанковой гранаты и отпустить планку... Ее мощный взрыв растерзает их тела в клочья, разметет вокруг снег, выроет в земле небольшую воронку, которая и станет для них могилой. Если его кончина затянется или ему окажется неважно, видно, так и придется сделать. Иного уже не оставалось. И пусть простят его Родина, люди — не его вина, что не выпало ему лучшей доли и не обошло его то самое страшное на войне, после которого ничего уже не бывает.

Наверное, он бы недолго протянул на морозном ветру и навсегда бы остался возле своего напарника, если бы в скором времени до его слуха не донеслись из ветреной тиши странные звуки. По-видимому, слух был самым выносливым из его чувств и бодрствовал до последнего предела жизни; теперь именно слух связывал его с окружающим миром. Сперва Ивановский подумал, что ему почудилось, но, вслушавшись, он отогнал от себя все сомнения — в самом деле где-то урчала машина. И он вспомнил, как прошлой ночью в поле наткнулись на автодорогу, ведущую в село, но где она могла быть сейчас, он не имел представления. Тем не менее где-то она была — совсем недалеко в ночной серой темноте по ней шла машина. Вскинув голову, лейтенант напряженно и долго прислушивался к натужному гулу мотора, пока его звук совершенно не пропал вдали.

Это неожиданное событие растревожило его почти уже успокоенное сознание; новое, противоречащее его чувствам желание зародилось в его

душе. Он перестал думать о своем несчастье, насторожился, гневное отчаяние оформилось в цель — последнюю цель его жизни. Эх, если бы это случилось раньше, когда у него было немножечко больше сил!..

Боясь опоздать, он завозился на снегу, подтянул под себя раненую ногу, как-то оперся на руки. Сначала поднялся на колени и затем попытался встать на ноги. Но он не сумел удержать равновесие и упал плечом в снег, глухо, протяжно застонав от боли в груди. Минут десять лежал, сцепив зубы и боясь глубже вдохнуть, потом начал подниматься опять. С третьей попытки это ему удалось, он наконец утвердился на дрожащих ногах, пошатнулся, но все же не упал. Он забыл взять винтовку, которая лежала чуть поодаль, у ног Пивоварова, но теперь у него уже не было уверенности, что, нагнувшись за ней, он не упадет снова. Поразмыслив, он так и не рискнул нагнуться, чтобы не упасть, а быстро, как бы с разбегу, пошел по снегу.

Он изо всех сил старался соблюсти равновесие и удержаться на ногах, но ему все время мешал сильный ветер. Кажется, тот все усиливался и временами так размашисто толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно. И он снова упал, отойдя от Пивоварова, может, шагов на тридцать, тут же попытался подняться, но не сумел. Превозмогая сильную боль в боку, полежал, уговаривая себя не спешить, выждать, более расчетливо тратить свои слабые силы. Но желание скорее дойти до дороги так сильно завладело им, что рассудок уже был плохой для него советчик — теперь им руководило чувство, которое становилось сильнее доводов разума.

И он снова поднялся, сперва на четвереньки, потом на колени, потом слабым рывком и огромным усилием — на обе ноги. Самое трудное было удержаться на них именно накануне самого первого шага — потом обретала силу инерция тела, и первые несколько шагов давались сравнительно легко. Но следующие опять замедлялись, его вело в сторону, затем в другую, и наконец он падал, вытянув перед собой задубевшие от мороза руки.

Его вынужденные остановки после падения становились все более продолжительными, иногда казалось, что он уже и не поднимется, в ускользающем сознании временами прерывалась связная цепь времени, и он вдруг прохватывался в недоумении: где он? Но он твердо знал, куда ему надо, ни разу не спутал направления, в полузабытьи ясно памятуя последнюю цель своей жизни.

Но вот, однажды упав, он понял, что подняться больше не сможет. На эти вставания тратилась масса сил, которых у него оставалось все меньше и меньше. Он лег на жгуче морозном снегу и лежал долго. Наверное, слишком долго для того, чтобы когда-либо подняться. Но в самый последний момент он вдруг понял, что замерзает, и это испугало его: замерзнуть он уже не мог

позволить себе. И тогда он просто пополз, разгребая локтями и коленями мягкий пушистый снег.

Скоро, однако, оказалось, что ползти вовсе не легче, может, даже труднее, чем плестись на ногах, — лейтенант до конца выдыхался и падал ничком. Это была бесконечная слепая борьба со снегом, но она же имела и преимущество перед ходьбой — не надо было вставать на ноги, что сберегало остаток его совершенно истощенных сил. И он греб, замирал на снегу и опять греб, пока хватало воздуха в легких. Весь его путь состоял из этого исступленного копания в снегу и длительных промежутков полузабытья. Но сознание его все-таки не выключалось надолго, оно было сильно целью его последних минут и властно диктовало собственную волю его изнуренному телу.

Грудь его распирало от кашля, но он не мог ни вздохнуть, ни откашляться — он боялся приступа боли, которого бы, наверно, уже не выдержал. Тем не менее однажды кашель так сильно сотряс его, что он, задохнувшись, упал головой в снег. Когда он кое-как откашлялся, то ощутил на губах теплый соленый привкус. Он сплюнул, ясно увидав на снегу кровь, смерзшимся рукавом маскхалата вытер губы, опять сплюнул, но кровь все шла. На снег с подбородка текла темная небыстрая струйка, и он совершенно обессиленно лежал на боку, в растерянности ощущая, как медленно уходит из тела жизнь. Однако, полежав так, он снова испугался приближения неизбежного, хотя он и знал, что когда-нибудь это должно случиться. Но теперь его больше занимал вопрос: где дорога? Ему надо было успеть добраться до нее прежде, чем его настигнет смерть. Вся его борьба на этом поле была, по сути, состязанием со смертью — кто кого обгонит? Похоже, теперь она настигла его и шла по пятам в ожидании момента, чтобы сразить наверняка.

Но нет! Черт с ней, с кровью, авось вся не вытечет. Он чувствовал: что-то в нем еще оставалось — если не силы, так, может, решимость. Он пролежал полчаса, жуя и глотая снег, чтобы остановить кровь, и как будто остановил ее. От холода сводило челюсти, но губы утратили солоноватый привкус, и он медленно, с остановками, пополз дальше, волоча на поясе единственную гранату.

Когда из снежных сумерек перед ним выплыли сизые силуэты берез, он понял, что это дорога и что он наконец дополз до нее. Великое напряжение почти всей ночи разом спало, в глазах его помутилось, он лег прострелянной грудью на морозный снег в прорытой им борозде и затих, потеряв сознание...

13

Он все-таки пришел в себя, совершенно зачоченев на морозе, и сразу же вспомнил, где он и что ему надо. Его последняя цель жила в нем, даже когда исчезало сознание, он только не знал, сколько прошло времени в его

беспамятстве и на что он еще способен. В первую минуту он даже испугался, подумав, что опоздал: над дорогой лег жала тишина, и ниоткуда не доносилось ни звука. В поле мело, вокруг шуршал поземкою ветер, лейтенанта до плеч занесло снегом; руки его так задубели, что невозможно было пошевелить пальцами. Но он помнил, что должен всползти на дорогу, только там его путь мог считаться оконченным.

Снова потянулась изнурительная борьба со снегом, Ивановский полз медленно, по метру в минуту, не больше. Он уже так ослабел, что не мог сколько-нибудь приподнять себя на локтях, и сунулся боком по снегу, опираясь больше ногами. Боли в раненой ноге теперь почему-то не чувствовал, наверно, там что-то отболело. Зато в груди у него все жгло, горело, все там превратилось в средоточие разбухшей, неутихающей боли. Он очень боялся, чтобы опять не пошла горлом кровь, — чувствовал, что тогда все для него и окончится, остерегался глубже вдохнуть, не мог позволить себе откашляться. Он берег простреленное легкое как нечто самое нужное, от чего всецело зависели последние часы его жизни.

Физически он был плох и понимал это. Сознание его, как канатоходец на проволоке, все время балансировало между явью и беспмятством, готовое в любую секунду сорваться в небытие, и лейтенант огромным усилием воли едва превозмогал цепко завладевшую им немощь. Терять сознание, когда рядом была дорога, он просто не мог позволить себе.

Наверно, он все-таки справился бы с собой и медленно, трудно, но все же всполз на дорогу, если бы не канава, которая коварной западней, пролегла на его пути. Ивановский едва не задохнулся, угодив в ее засыпанную снегом глубину, и закашлялся. Сразу же почувствовал, что началось кровотечение, тугой и противный сгусток выскользнул из его рта, и теплая струя крови потекла с подбородка по шее на снег. Ничком он лежал на бровке канавы и думал, что ничего более нелепого нельзя себе и придумать. С таким трудом, сверх всяких возможностей ползти всю ночь к дороге, чтобы умереть в двух шагах от нее. Завтра поедут немцы, и он вместо того, чтобы встретить их с гранатой в руках, предстанет перед ними жалким замерзшим трупом. Вот так судьба!

Сознание снова начало ускользать от него, и тут уже не могло помочь никакое его усилие. Взгляд застлало мраком, весь мир сузился в его ощущениях до маленькой, светлой, все убывающей точки, и эта точка погасла. Но все же и на этот раз что-то превозмогло в нем смерть и вернуло его истерзанное тело к жизни. Без всякого волевого усилия с его стороны точка опять засветилась, и он вдруг снова почувствовал вокруг снег, стужу и себя в ней, полного немощи и боли. Он сразу же заворочился, задвигался, стараясь во что бы то ни стало вырваться из снеговой западни — канавы, всползти на

дорогу. Пока он был жив, он должен был занять последнюю свою позицию и там кончить жизнь.

И он все-таки выбрался из канавы, боком взвалив на дорожную бровку тело, прополз еще четыре шага и обмер, обессиленный. Под ним была колея, он ясно чувствовал ее своим телом, объехать его было невозможно. Он коротенько, с удовлетворением выдохнул и начал готовить гранату.

С гранатой, однако, пришлось помучиться долго и, может, труднее еще, чем в канаве. Непослушные помороженные пальцы его, кажется, вовсе потеряли осязание, он несколько минут тщетно пытался развязать ими тесемку, которой граната была привязана к поясу, но так и не смог этого сделать. Пальцы лишь слепо блуждали по бедру, он просто не смог нащупать ими концы тесьмы, и это было ужасно. Он едва не заплакал от этой так внезапно сразившей его измены, но действительно руки первые начали не повиноваться ему. Тогда он локтем нащупал увесистый кругляк гранаты и, собрав все силы, которые еще были у него, надавил им на гранату сверху вниз, к паху. Что-то там треснуло, и он сразу почувствовал, что освободился от тяжести, — граната лежала в снегу под ним.

Но, видно, он слишком много потратил сил и ничего уже больше не мог. Он долго лежал в колее, через которую мела, вихрилась поземка, и думал, что так его заметет снегом. Но теперь пусть замечает, ему спешить некуда, он достиг своей цели, — теперь только бы сладить с гранатой. Утратившими осязание руками он все же нащупал ее железную рукоятку, но чеку разогнуть не смог. Тогда он кое-как пододвинул гранату по колее к подбородку и зубами вцепился в разогнутые концы чеки.

В другое время ему достаточно было короткого движения двух пальцев, чтобы разведенные эти концы выпрямились и их можно было выдернуть из рукоятки. Теперь же, сколько он ни бился, ничего с ними сделать не мог. Они будто примерзли там, будто их припаяли намертво, и он, выламывая зубы и раздирая десны, полчаса грыз, крутил, выгибал неподатливую проволоку. Наверно, только после сотой попытки ему удалось захватить оба конца зубами и свести их вместе. Все время он очень боялся, что не успеет, что на дороге появятся машины и он ничего им не сделает. Но машины не появились, и, когда граната была готова к броску, он стал терпеливо, настойчиво ждать.

Но ждать оказалось едва ли не самым трудным из всего, что ему довелось пережить за ночь. Чутким, обострившимся слухом он ловил каждый звук в поле, но, кроме неутрахающего шума ветра, вокруг не было никаких других звуков. Дорога, которая вынудила его на все сверхвозможные усилия и к которой он так стремился, лежала пустая. Все вокруг замерло, уснуло, только снежная крупа монотонно шуршала о намерзшую ткань маскхалата, медленно замечая его в колее.

Все вслушиваясь и решительно ничего не слыша, Ивановский с тоской начал думать, что, по всей видимости, до утра здесь никто и не появится. Не такая это дорога, чтобы по ней разъезжали ночью, разве кто-нибудь появится утром. Утром наверняка должен кто-либо выехать из этого штаба или проехать в него; не может же штаб обойтись без дороги. Но сколько еще оставалось до этого утра — час или пять часов, — он не имел представления. Он очень жалел теперь, что оставил в баньке часы, наверно, это было совсем неосмотрительно: не зная времени, он просто не мог рассчитать свои силы, чтобы дотянуть до утра.

Бесчувственными пальцами стискивая рукоять гранаты, он лежал грудью на снегу и ждал. Глаз он почти не открывал, он и без того знал, что вокруг тусклая снежная темень и ничего больше. В сторожке ночной тишине был хорошо слышен каждый звук в мире, но тех звуков, которых он так дожидался, нигде не было слышно.

Оказавшись в неподвижности, он быстро начал терять тепло и коченел, вполне сознавая, что мороз и ветер расправятся с ним скорее, чем это могли сделать немцы. Он все сильнее чувствовал это каждой клеточкой своего насквозь промерзшего тела, которое не могло даже дрожать. Просто он медленно, неотвратно, последовательно замерзал. И никто здесь не мог ему ни помочь, ни ободрить, никто и не узнает даже, как он окончил свой путь. При мысли об этом Ивановский вдруг почувствовал страх, почти испуг. Никогда еще не был он в таком одиночестве, всегда в трудную минуту кто-нибудь находился рядом, всегда было на кого опереться, с кем пережить наихудшее. Здесь же он был один, как загнанный подстреленный волк в бесконечном морозном поле.

Конечно, он обречен, он понимал это с достаточной в его положении ясностью и не очень сожалел о том. Спасти его ничто не могло, он не уповал на чудо, знал, для таких, с простреленной грудью, чудес на войне не бывает. Он ни на что не надеялся, он только хотел умереть не напрасно. Только не замерзнуть на этой дороге, дожидаться рассвета и первой машины с немцами. Здорово, если бы это был генерал, уж Ивановский поднял бы его в воздух вместе с роскошным его автомобилем. На худой конец сгодился бы и полковник или какой-нибудь важный эсэсовец. По всей вероятности, штаб в деревне большой, важных чинов там хватает.

Но для этого надо было дожить до рассвета, выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи. Оказывается, пережить ночь было так трудно, что он начал бояться. Он боялся примерзнуть к дороге, боялся уснуть или потерять сознание, боялся подстерегавшей каждое его движение боли в груди, боялся сильнее кашлянуть, чтобы не истечь кровью. На этой проклятой

дороге его ждала масса опасностей, которые он должен был победить или избежать, обхитрить, чтобы дотянуть до утра.

Рук своих он почти уже не чувствовал, но теперь начали отниматься и ноги. Он попытался пошевелить в сапоге пальцами, но из этого ничего не вышло. Тогда, чтобы как-то удержать уходящее из тела тепло, начал стучать смерзшимися сапогами о дорогу. В ночной тишине сзади слышался глухой, тревожный стук, и он перестал. Ног он не согрел несколько, но самому стало плохо, и он, чувствуя, что теряет сознание, последним усилием сунул под себя гранату. Гранату теперь он вынужден был беречь больше, чем жизнь. Без нее все его существование на этой дороге сразу лишалось смысла.

После глубокого провала в сознании, за которым последовал долгий промежуток липкой изнуряющей слабости, он снова почувствовал пронизывающий холод и ужаснулся. Казалось, этой ночи не будет конца и никакие его ухищрения не помогут ему дожидаться утра. Но как же так может быть? — едва не вопил в нем протестующий, полный отчаяния голос. Неужели же так ничего и не выйдет? Куда же тогда пропало столько его усилий? Неужели же все они тщетны? Но ведь они — продукт его материального "я" и сами, наверное, материальны, ведь они — обессиленная его плоть и пролитая им кровь, почему же они должны в этом сугубо материальном мире пропасть без следа? Превратиться в ничто?

Тем не менее он почти наверняка знал, что все окончится неудачей, но отказывался понимать это. Он хотел верить, что все им совершенное в таких муках должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге — может, в другом месте, спустя какое-то время. Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь он зачем-то родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то, пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл.

И он вдруг поверил, что будет. Что непременно будет, что никакие из человеческих мук не бессмысленны в этом мире, тем более, солдатские муки и солдатская кровь, пролитая на эту неприютную, мерзлую, но свою землю. Есть в этом смысл! И будет результат, иначе быть не может, потому что не должно быть.

Ему бы только дожидаться утра...

Тем временем мороз и стужа добирались уже до его внутренностей, и он чувствовал это. Краем меркнувшего сознания он следил за тем, как холод медленно, но неотступно завладевал его обескровленным телом, и считал

короткие минуты, которые ему еще оставались. Однажды, приоткрыв глаза, он вдруг изумился и с трудом раскрыл их пошире. Над полем светало. Тьма, которая, казалось, целую вечность плотным пологом укрывала землю, заметно приподнялась над ней, в поле стало просторней, прояснилось небо, и в нем четко обозначились заиндевелые вершины берез. В сумеречную даль уходила переметенная поземкой дорога.

Схватив все это непродолжительным, однако утомившим его взглядом, он хотел опустить на снег голову, как вдруг что-то увидел. Сперва ему показалось: машина, но, пристально взглядевшись, он понял, что это скорее повозка. Утомленный долгим рассматриванием, он уронил голову на снег, чувствуя в себе замешательство, страх и надежду одновременно. Огромный, как приговор, вопрос встал перед ним: кто мог ехать в повозке? Если крестьяне, колхозники, то это было из области чуда, в которое он недавно еще отказывался поверить: к нему приближалось спасение. Если же немцы... Нет, он решительно не мог взять в толк, почему в этот утренний час из деревни, в которой размещался большой штаб, должны появиться на повозке немцы. Все в нем восстало против такого нелепого предположения, всю ночь он ждал чего угодно, но никак не обозную повозку с поклажей, до которой ему не было дела.

Тем не менее это была повозка, и она медленно приближалась. Уже стали видны и впряженные в нее лошади — пара крупных рыжеватых битюгов, которые, помахивая короткими хвостами, легко, без видимого усилия, тащили за собой громоздко нагруженный соломой воз. На самом его верху, пошевеливая вожжами и тихо переговариваясь, восседали два немца.

Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел, такого невезения он не мог себе и представить. После стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, генерала в изысканном "опель-адмирале" и даже штабного с портфелем полковника ему предстояло взорвать двух обозников с возом соломы.

Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины во имя своего солдатского долга. Другие, покрупнее, взносы перепадут другим. Будут, наверно, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники. С ними он и столкнется в своем последнем бою, исход которого был предрешен заранее. Но он должен столкнуться — за себя, за Пивоварова, за погибших при переходе передовой Шелудяка, Кудрявца. За капитана Волоха и его разведчиков. Да мало ли еще за кого... И он зубами вырвал из рукоятки тугое кольцо чеки.

Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал

болтать что-то, в то время как другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в дорогу. Ивановский, сунув под живот гранату, лежал неподвижно. Он знал, что издали не очень приметен в своем маскхалате, к тому же в колее его порядочно замело снегом. Стараясь не шевельнуться и почти вовсе перестав дышать, он затаился, смежив глаза; если заметили, пусть подумают, что он мертв, и подъедут поближе.

Но они не подъехали поближе, шагах в двадцати они остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он по-прежнему не шевелился и не отозвался, он только украдкой следил за ними сквозь неплотно прикрытые веки, как никогда за сегодняшнюю ночь с нежностью ощущая под собой спасительную округлость гранаты.

Не дождавшись ответа, один из двух немцев — тот, что сидел на возу с поднятым воротником шинели, — прихватив карабин, задом сполз на дорогу. Другой остался на месте, не выпустив из рук вожжей, и Ивановский простонал с досады. Получалось еще хуже, чем он рассчитывал: к нему приближался один. Лейтенант внутренне сжался, в глазах его потемнело, дорогу и березы при ней повело в сторону. Но он как-то удержался на самом краю сознания и ждал.

Клацнув затвором, спешившийся немец повелительно крикнул что-то и, разбрасывая длинные полы шинели, пошел по дороге. Карабин он держал на изготовку, прикладом под мышкой. Ивановский понемногу отпускал под собой планку гранаты и беззвучно твердил, как молитву: "Ну иди же, иди..." Он ждал, весь превратись в живое воплощение Великого ожидания, на другое он уже был не способен. Он не мог добросить до него гранату, он мог только взорвать его вместе с собой.

Однако этот обозник, видать, был не из храбрых и шел к нему так осторожно, что казалось, вот-вот повернет назад. И все-таки он приближался. Ивановский уже различал небритое, какое-то заспанное его лицо, встревоженный взгляд, заиндевелые пуговицы его шинели. Однако, не дойдя до Ивановского, он снова прокричал что-то и остановился. В следующее мгновение лейтенант сам едва не вскричал от обиды, увидев, как немец поднимает к плечу карабин и прицеливается. Целился он неумело, старательно, ствол карабина долго ходил из стороны в сторону; напарник его все говорил что-то с воза, наверно, давал советы. Ивановский по-прежнему лежал неподвижно, широко раскрытыми глазами глядя на своего убийцу, и слезы отчаяния скатились по его щекам. Вот он и дождался утра и встретил на дороге немцев! Все кончалось глупо, нелепо, бездарно, как ни в коем случае не должно было кончиться. Что же ему оставалось? Встать? Крикнуть? Поднять

вверх руки? Или тихо и покорно принять эту последнюю пулю в упор, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли?

Он, разумеется, исчезнет, теперь уж ему оставались считанные секунды, за которыми последует Вечное Великое Успокоение. В его положении это даже было заманчиво, так как разом освобождало от всех страданий. Но останутся жить другие. Они победят, им отстаивать эту зеленую счастливую землю, дышать полной грудью, работать, любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода лейтенант Ивановский.

Нет, он не встал, потому что встать он не мог, и не вскрикнул, хотя, наверное, мог бы еще кричать. Он лишь содрогнулся, когда в утренней сторожкой тишине грохнул одиночный выстрел и еще одна пуля вонзилась в его окровавленное тело. Она ударила ему в плечо, наверное, раздробив ключицу, но все равно он не пошевелился и не застонал даже. В последнем усилии он только сжал зубы и навсегда смежил глаза. С трепетной последней надеждой он слушал приближающиеся на дороге шаги и думал, что, возможно, еще и не все потеряно, возможно, и удастся. Какой-то самый ничтожный шанс у него еще оставался. Медленно, очень осторожно, преодолевая охватившую его новую боль, он поворачивался на бок, высвобождая из-под тела гранату. И он освободил ее как раз в тот момент, когда шаги на дороге затихли поблизости. Он почувствовал под боком тугой, пружинистый рывок планки, и тотчас неожиданно звучно хлопнул взрыватель. Немец коротко вскрикнул, очевидно пускаясь наутек, Ивановский успел еще услышать два его отдавшихся в земле шага и потом ничего уже больше не слышал...

Несколько секунд спустя, когда осела перемешанная со снегом пыль, его уже не было на этой дороге, лишь небольшая воронка курилась на ветру в одной ее колее; вокруг на разметанном снегу валялись мерзлые комья земли да за канавой ничком, разбросав по грязному снегу длинные полы шинели, лежал отброшенный взрывом труп немца. Повозка с растрясенной по снегу соломой опрокинулась набок, в упряжке, тщетно пытаясь встать на ноги, бился крупный гнедой битюг, а по дороге к деревне бежал уцелевший обозник.

1972 г.